

The background of the cover is a dark, atmospheric illustration in shades of orange, brown, and black. It depicts a scene with several figures in period clothing. In the foreground, a woman in a dark dress and a tall, ornate hat stands with her back to the viewer, looking towards a smaller figure in the distance. To the right, another figure in a dark dress and a large, decorative hat is visible. The scene is set in a dark, possibly wooded or graveyard area, with bare, gnarled trees and a misty, ethereal atmosphere. The overall mood is mysterious and gothic.

МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ

*Фантом
озера*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Марк Твен

**Мистические истории.
Фантом озера**

«Азбука-Аттикус»

2023

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Твен М.

Мистические истории. Фантом озера / М. Твен — «Азбука-Аттикус», 2023 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-23053-8

Оживающие статуи, странные места, призраки, спасающие смертных, губящие самонадеянных хвастунов и даже вступающие в брак друг с другом, злокозненные адепты черной магии, сделки с дьяволом, неприкаянные души убийц, попытки заглянуть в будущее – об этом и еще о многом другом повествуют Амелия Эдвардс, Шарлотта Ридделл, Артур Грей, Монтегю Родс Джеймс и другие классики жанра викторианского готического рассказа, чьи произведения вошли в этот сборник. Под их пером реальность то и дело утрачивает привычные границы пространства и времени, подлунный мир открывает свои тайны, а расхожие истины дwoятся и расплываются в зыбких отражениях иной – нездешней – жизни... И даже скептикам приходится согласиться с тем, что далеко не всему можно найти объяснение: «Прежде я размышлял о так называемых сверхъестественных явлениях разве что случайно и вскользь и потому в них не верил. Теперь мне пришлось признать, что происшествие этой ночи – из тех, что не снились моей философии» (Эдмунд Митчелл. Фантом озера).

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-23053-8

© Твен М., 2023

© Азбука-Аттикус, 2023

Содержание

Ричард Барэм	7
Необычайный случай из жизни покойного Генри Гарриса, доктора богословия	7
Джордж Элиот	20
Приоткрытая завеса	20
1	20
2	33
Амелия Эдвардс	46
Карета-призрак	46
Саломея	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Мистические истории. Фантом озера

Составление Людмилы Бриловой

Комментарии Сергея Антонова

© Л. Ю. Брилова, составление, 2023

© С. А. Антонов, комментарии, 2023

© Л. Ю. Брилова, перевод, 2004, 2007, 2008, 2011, 2017, 2018, 2023

© Н. Я. Дьяконова (наследники), перевод, 2023

© М. В. Куренная, перевод, 2004

© В. Б. Полищук, перевод, 2009

© Н. Ф. Роговская, перевод, 2009, 2011, 2017, 2023

© С. Л. Сухарев (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Ричард Барэм

Необычайный случай из жизни покойного Генри Гарриса, доктора богословия

Перевод С. Сухарева

Прежде чем приступить к рассказу о данном весьма неординарном происшествии, я, дабы заручиться со стороны слушателей должным доверием, полагаю необходимым предупредить, что мой достопочтеннейший друг, в чьих бумагах я обнаружил эту запись, на протяжении всей своей жизни почитался человеком уравновешенным и здравомыслящим, безупречно правдивым и высоконравственным: он никоим образом не обладал нервическим складом характера и, сталкиваясь со случаями, выходящими за рамки обычного хода событий и не поддающимися мгновенной разгадке, не склонялся тем не менее к тому, чтобы переоценивать их значимость.

Что до правдивости повествования, коль скоро она подтверждалась личным свидетельством моего друга, то никто из знавших его ни на минуту бы в ней не усомнился. Вкратце рассказанная им история такова.

– Мой друг женился рано и в возрасте тридцати девяти лет овдовел, оставшись с единственной, совсем юной, дочерью, которая как раз тогда вышла замуж за близкого родственника нашего семейства. Спустя всего лишь три дня после родов миссис С*** супруг ее внезапно скончался, упав с лошади, о чем ей поспешила сообщить глуповатая служанка, которая, увидев, как бесчувственного хозяина вносили в дом, ринулась со всех ног в спальню роженицы (рвение раньше других доставить дурную весть весьма свойственно низшим сословиям). Потрясение оказалось чрезмерным, и, хотя юная вдова прожила после этого прискорбного события еще несколько месяцев, силы ее неуклонно убывали, и вскоре она скончалась, оставив младенца, которому еще не исполнилось и года, на попечение бабушки с материнской стороны.

Моего бедного друга глубоко потрясло это тяжкое несчастье; однако время и стойкое религиозное чувство постепенно умилили остроту его скорби, чему немало способствовали заботы о ребенке, который, как бы по праву наследства, занял в его сердце место, опустевшее после кончины дочери. Фредерик С*** вырос ладным пареньком – статного телосложения и красивой наружности, однако в чертах его лица проступало, насколько мне помнится, нечто неприятное, и оно сохраняло холодное выражение, которое немногие посетители дома приходского священника приписывали уединенному образу жизни, привычному для его бабушки, отчего мальчик нечасто бывал в обществе сверстников, равных ему по умственному развитию. Воспитание Фредерика проходило исключительно под домашним кровом; не отличаясь ранним развитием, он тем не менее усваивал школьные знания быстрее большинства мальчиков того же общественного положения; отчасти это, возможно, определялось тем, что даже свободное от уроков время он проводил не так, как другие. Его единственным товарищем был сын деревенского аптекаря – примерно двумя годами его старше, чей отец, обладавший обширными познаниями в области фармацевтики, оборудовал для себя небольшую лабораторию, и там, поскольку дети были ему по душе, оба мальчика проводили чуть ли не все часы досуга, наблюдая за различными несложными опытами, столь привлекательными для юношества, в надежде со временем перенять восхищавшие их умения.

Неудивительно, что подобное общение пробудило во Фредерике С*** неодолимую тягу к науке, составлявшей главный предмет его интересов, и что, когда возникла необходимость избрать себе путь в жизни, он страстно ухватился за профессию, тесно связанную с его люби-

мым увлечением, а именно за медицину. Зная, что с его последним вздохом прекратится и поступление основной части семейного дохода, а прочих средств внуку не хватит, мой друг не только не противился, но и, напротив, всячески поддержал намерение Фредерика следовать по пути, который обеспечит ему скромный и заслуживающий уважения достаток – вероятно, более способствующий истинному счастью, нежели богатство и привилегированный социальный статус. Соответственно, по достижении нужного возраста Фредерик поступил в Оксфордский университет с целью изучить высшие разделы медицины, меж тем как его друг Джон У*** за несколько месяцев до того отправился в Лейден, намереваясь ознакомиться с хирургической практикой в больницах и лекционных залах, принадлежавших тамошнему университету. Разлука, как это часто случается, не повлияла на близость, связавшую их в годы отрочества; напротив, между ними началась самая оживленная переписка. После уговоров доктор Гаррис даже позволил Фредерику навестить друга в Голландии, а Джон нанес ему ответный визит в Оксфорд.

Хотя первое время известия о ходе занятий Фредерика С*** были довольно утешительными, мало-помалу до кое-кого из его приятелей стали доходить слухи менее приятного свойства; в дом священника, однако, они, как я имею основания полагать, не проникали. Престарелый добрый доктор был настолько любим прихожанами, что никто не решился по собственной воле причинить ему боль, да, в конце концов, местечка N** достигали одни только догадки и пересуды, и достойный викарий был немало удивлен, когда неожиданно получил от внука письмо с просьбой позволить ему оставить университет и завершить образование совместно со своим другом У*** в Лейдене. Данный замысел, изложенный к тому же в преддверии выпуска из университета, и удивил, и огорчил доктора; вопреки прежнему обыкновению, на сей раз он упорно воспротивился пожеланию обожаемого внука, но, как водится, уступил под дальнейшим нажимом, поскольку отказ чересчур сильно расстроил Фредерика, тем более что тот с неподобающим младшему напором заявил, что ни в коем случае не вернется в Оксфорд – вне зависимости от того, какое решение примет дед. Душевное состояние моего друга было в ту пору, вероятно, довольно шатким из-за недавнего краткого, но жестокого нервного припадка, после которого он еще не успел толком оправиться; он с неохотой, но изъявил согласие, и Фредерик покинул Англию.

Лишь спустя несколько месяцев после его отъезда у меня появился повод заподозрить, что горячий интерес к обучению за границей, где возможности шире, чем на родине, не был ни единственной, ни даже главной причиной, заставившей его столь резко порвать с Alma Mater. Меня убедил в этом разговор с его старшим однокашником из того же колледжа, когда я случайно оказался в университете; однако выпытать подоплеку совершенного Фредериком поступка мне не удалось. Намеки на то, что Фредерик принялся потворствовать слабостям самого предосудительного свойства, мне доводилось слышать и прежде; припомнив, как он, внезапно вырванный из, можно сказать, отшельнического уголка, попал в мир, таивший в себе множество заманчивых соблазнов, где свобода, сторонний пример и все прочее подстрекали его сойти с прямой дороги, я – признаюсь чистосердечно – не столько удивлялся или осуждал, сколько испытывал глубокое сожаление. Но, очевидно, речь шла о чем-то большем, нежели обыкновенная невозддержанность, – это было некое особо постыдное деяние, свидетельствовавшее, возможно, о крайней распушенности; оно-то и побудило наставников Фредерика, поначалу щедро расточавших ему похвалы, удалить его из университета без всякой огласки, но бесповоротно; это указание, как я выяснил, было передано ему от имени должностного лица, перечить которому было немыслимо. Видя уклончивость моего собеседника, явно не желавшего внести определенность, я не настаивал на разглашении истины, каковая, став известной, наверняка меня бы не обрадовала, тем более что мой старый друг доктор недавно получил от лорда М*** завидный приход – всего лишь в нескольких милях от городка, где проживал я, и там он с любовью занимался тем, что обихаживал участок вокруг дома, обставлял и укра-

шал комнаты, готовясь к ожидаемому предстоявшей осенью приезду внука. С наступлением октября явился и Фредерик; он не однажды наезжал и ко мне, иногда вместе с доктором; узы сердечной симпатии между ним и мной после недавней утраты моей несчастной дочери Луизы сделались еще прочнее.

Таким образом протекло более двух лет, на протяжении которых Фредерик С*** еще дважды навещался в родные края. Приближался срок его окончательного возвращения в Англию, когда внезапная болезнь моего тестя заставила нас с женой отправиться в Ланкашир, и мой старый друг любезно предложил поселиться у меня в доме и вплоть до моего возвращения взять на себя мои обязанности в приходе. Увы, при следующей нашей встрече он лежал на смертном одре!

Мое отсутствие вынужденно затянулось гораздо дольше, чем ожидалось. Как впоследствии я выяснил, в этом промежутке моему досточтимому заместителю доставили из его дома письмо с иностранной маркой, и он, едва успев передать принятые им на себя обязанности соседнему священнику, поспешил в Лейден. С прибытием, однако, он опоздал – Фредерик был мертв! Убит на дуэли, нешуточный повод для которой, как говорили, был подан им самим, хотя бегство его противника еще более сгустило завесу таинственности над ее первопричиной. Затяжное путешествие, плачевная его развязка и полное крушение всех земных упований моего бедного друга оказались для него непосильным бременем. К тому же походило на то – как сообщил мне владелец дома, в котором я нашел моего друга, когда по его призыву смог наконец добраться до его ложа, – что он пережил вдобавок еще и внезапный и непостижимый удар, для объяснения которого даже гибель внука была недостаточной. В самом деле, когда он пожимал мне руку, в его быстро стекленевших глазах к отчаянию добавилась непонятная удовлетворенность; он сделал попытку приподняться в постели и заговорить, но усилие оказалось чрезмерным: он откинулся на подушки и навеки смежил глаза. Там я и похоронил моего друга, рядом с предметом его большей, нежели родительская, привязанности – в чужой земле.

Нижеследующие отрывки, которые здесь представлены, извлечены мной из бумаг, найденных в его дорожном сундучке; не ждите, однако, чтобы я высказал суждение о странных обстоятельствах, подробно в них описанных, или провел какую-либо связь – быть может, замечаемую иными читателями – между различными фрагментами рукописи.

Первая запись сделана, очевидно, у меня в доме и датирована 15 августа 18** года – приблизительно три недели спустя после моего отбытия в Престон.

Начинается она так:

«Вторник, 15 августа. Бедная девочка! Не помню, чьи это слова: „Подлинные жизненные несчастья меркнут в сравнении с воображаемыми бедствиями“, и воистину сцена, свидетелем которой я только что оказался, во многом подтверждает истинность этого высказывания. Среди недугов – наследия плоти – болезненное воображение отнюдь не принадлежит к числу необременительных, даже если рассматривать его особняком, не принимая во внимание те телесные муки и страдания, которые (столь тесно связано между собой духовное и физическое) постоянно и неизменно сопутствуют расстройствам фантазии. Редко когда во мне пробуждалась бóльшая заинтересованность, нежели в случае с бедняжкой Мэри Грэм. Ее возраст, внешность, бледное печальное лицо, весь очерк ее фигуры – все это, увы, неотступно напоминает мне о той, которая, сплю я или бодрствую, никогда надолго не покидает моих мыслей... но довольно об этом.

Ненастную ночь (другой такой бури и не припомню) сменило погожее утро, и не успел я приняться за основательный завтрак (о котором позаботилась домоправительница моего друга Инголдсби – добрейшая миссис Уилсон), как меня вызвали к постели больной – юной прихожанки: я частенько встречал ее во время прогулок и не мог не заметить ее постоянного присутствия на богослужении. Мэри Грэм – старшая из двух дочерей, проживающих с матерью – вдовой адвоката, который скончался в расцвете лет, оставив семью с самыми скудными сред-

ствами. Строжайшая, хотя и без скарденности, экономия позволяет им, однако, сохранять приличия и видимость благополучия, а привлекательность и обаяние, свойственные обеим девушкам, внушают матери надежду на то, что хотя бы одна из них сумеет удачно устроить свою судьбу. Что до бедняжки Мэри, то, боюсь, ее чаяниям не суждено сбыться, и вряд ли я заблуждаюсь: чахотка уже наложила на нее губительную длань, и недавний рецидив, который я назвал бы не иначе как опаснейшим эпилептическим приступом, угрожает еще стремительней опустошить и без того ничтожный запас времени в песочных часах ее жизни. Сама та мания, которой она подвержена, по природе своей такова, что, усугубляя физический недуг суеверным ужасом, неминуемо ускорит катастрофу, стоящую, как мне представляется, на пороге.

Прежде чем мы проследовали к Мэри, ее сестра, поджидавшая у окна, прошла со мной в небольшую гостиную, где, после обычного обмена любезностями, стала подготавливать меня к предстоящей встрече. Лицо ее выражало одновременно тревогу и озабоченность; движимая скорее неким скрытым переживанием, нежели боязнью потревожить больную в отдаленной комнате, она, понизив голос почти до шепота, известила меня, что мое присутствие сделалось необходимым не столько в качестве священника, сколько мирового судьи; расстройство, продолжала она, постигшее сестру ночью, – самое что ни на есть внезапное и необъяснимое и выходявшее за любые привычные рамки – сопровождалось обстоятельствами, которые, вкупе с утверждениями страдальцы, ставят его вне всяких обыденных случаев, поскольку, по ее словам, „за всем этим таится злой умысел“.

Естественным образом уловив в этом намек, что в пище больной содержалось нечто вредоносное, я спросил, во-первых, почему она вообще думает, будто ее сестре подсунули пагубное снадобье, а во-вторых, какими побуждениями способен руководствоваться смертный, возжелавший причинить недоброе столь невинному и безобидному созданию. Услышанный мной ответ существенно развеял зародившиеся у меня опасения касательно того, не попыталась ли несчастная девушка по какой-то неведомой причине предстать незваной пред лицом Господа; в то же время ее слова немало поразили меня явной несообразностью и отсутствием здравого смысла. Сестра девушки заявила, что у нее нет ни малейшего повода думать, будто Мэри приняла яд или кто-либо покушался на ее жизнь, да и хотя бы замышлял подобное покушение, однако „злой умысел тут налицо – со стороны либо негодяев, либо демонов, либо и тех и других вместе; нельзя найти никаких причин обычного свойства, чтобы объяснить состояние, в которое Мэри ныне дважды впадала, и те чудовищные муки, которые она при этом испытывала“; и она твердо намерена добиться тщательного расследования всего этого дела. Видя, что бедная девушка сама крайне перевозбуждена, я почел излишним оспаривать ее нелепые утверждения и, дабы ее успокоить, уверил, что необходимое дознание будет должным образом проведено, а затем стал расспрашивать о симптомах нездоровья ее сестры и о том, в чем именно оно впервые проявилось.

Ненастная ночь, как я выяснил, побудила все семейство засидеться дольше обычного часа, до тех пор, пока им, вконец истомленным, „не надоело“, по замечанию матушки, „попусту топить камин и жечь свечи“ и они не разошлись по своим спальням.

У сестер была одна комната на двоих; Элизабет, сев за столик, занялась своим скромным туалетом и только начала укладывать волосы на ночь, как ей тут же пришлось прервать это занятие, поскольку слух ее поразила глухой вскрик сестры: вероятно, она, при своем слабом здоровье, слишком поспешно одолела два лестничных марша и теперь, чтобы перевести дыхание, опустилась в просторное кресло.

Мгновенно обернувшись, Элизабет увидела, что Мэри, мертвенно-бледная, судорожно стиснув подлокотники кресла, подалась вперед, словно к чему-то прислушивалась; ее бескровные губы дрожали, на лбу выступили капли холодного пота; душераздирающим голосом она воскликнула: „Чу! они снова меня зовут! тот же – тот же самый голос! О нет, нет! О боже! спаси меня, Бетси, – помоги мне, спаси!“, – и с этими словами она простерлась на полу. Элизабет

бросилась к ней и подняла на ноги; на ее крики в комнату прибежали мать, еще не ложившаяся в постель, и их единственная молоденькая служанка. Служанку тотчас отправили за медицинской помощью, однако, судя по виду пострадавшей, следовало всерьез опасаться того, что любое искусство вскоре окажется тут тщетным. Обезумевшие мать и сестра кое-как совместными усилиями перенесли Мэри на постель: слабый прерывистый пульс еще какое-то время ощущался, но вскоре по всему ее телу прошла сильнейшая судорога; пульс замер, глаза остановились и остекленели, челюсть отвисла; кожа, еще недавно источавшая нежную теплоту жизни, сделалась холодной и липкой. Еще до прибытия мистера А*** все свидетельствовало о том, что наступила смерть и обретший свободу дух покинул свое бrenное обиталище.

Приход медика подтвердил худшие опасения: вскрыли вену, но кровь отказалась течь, и мистер А*** возвестил, что жизненная искра и вправду угасла.

Несчастную мать, привязанную к детям тем сильнее, что никаких иных родственников или свойственников на свете у нее не было, охватило отчаяние, близкое к помешательству; Элизабет и врач с трудом довели ее до спальни. Едва ли не час прошел в стараниях успокоить ее смятенные чувства: до какой-то степени это удалось, после чего мистер А*** откланялся, и когда Элизабет вернулась в комнату, где лежала ее сестра, чтобы исполнить над бездыханным телом последние печальные обязанности, ее поразила ужасом алая струйка крови, стекавшая по одеялу на пол. Заслышав ее возглас, в комнату снова вбежала служанка, и обе, потрясенные, увидели, что карминный ручеек проистекал из руки умершей, которая начала теперь подавать признаки возвращавшейся жизни. В комнату ворвалась полубезумная мать, и им едва удалось удержать ее от неистовых действий, которые могли бы навсегда погубить надежду, затеплившуюся в их сердцах. Протяжный вздох, похожий скорее на стон, сменившийся конвульсивным хватанием воздуха, предшествовал восстановлению телесных способностей Мэри; за ним последовал пронзительный крик – неестественно громкий для столь слабого организма; мало-помалу она очнулась и с помощью укрепляющих средств к утру восстановила силы настолько, что настойчиво потребовала вызвать меня; ей охотно пошли навстречу, поскольку, выслушав странный рассказ Мэри, после того как та пришла в себя, сестра преисполнилась самыми чудовищными подозрениями. Природа этих подозрений была такова, что в другое время вызвала бы, вероятно, у меня улыбку; но взволнованность и страдальческая гримаса на лице бедной девушки, пока она обвиняками их излагала, совершенно исключали малейшие поползновения к веселью. Посему, не пытаясь противоборствовать идеям, по всей видимости слишком прочно укрепившимся в ее сознании для того, чтобы их оспаривать, я просто-напросто произнес несколько ободряющих фраз и попросил ее провести меня в комнату больной.

Мэри лежала на застеленной постели полуодетой, в свободном одеянии из белого канифаса, цвет которого слишком хорошо соответствовал мертвенно-бледному цвету ее лица. Посеревшие щеки у нее ввалились, отчего глаза казались непомерно выпуклыми и отливали ярким блеском – характерным и нередким признаком помрачения рассудка. Я взял Мэри за руку: она была холодной и липкой, неровный пульс едва прощупывался, и вся она выглядела такой немощной, что я охотнее всего убедил бы ее отложить разговор, который в ее теперешнем состоянии ей трудно было поддерживать. Она, однако, заверила, что пока не снимет с себя тяжкого бремени „страшной тайны“ (это ее слова), ни душа, ни тело ее не будут знать покоя, и в конце концов побудила меня исполнить ее желание: спорить при ее тогдашнем настроении было бы, пожалуй, опасней. Я молча поклонился в знак согласия, и Мэри тихим и запинаящимся голосом, с частыми паузами, вызванными слабостью, следующим образом описала мне те странные ощущения, которые, по ее словам, ей пришлось испытать на протяжении своего транса:

– Это, сэр, – начала она, – не первый случай, когда чья-то жестокость – с целью, какую я просто не в силах вообразить, – подвергала меня пытке, степень которой я не могу сопоставить с мучениями – что душевными, что телесными, – испытанными мной прежде. В про-

шлый раз я была склонна посчитать эту пытку простым следствием страшного сна – того, что в обиходе именуют кошмаром, – однако ее недавнее повторение при обстоятельствах, когда *призыв* достиг меня еще до того, как я расположилась на отдых, неопровержимо убеждает меня в реальности пережитого и увиденного.

Долее я не могу ничего утаивать. Уже год с лишним мне сделалось привычным во время прогулок порой встречать молодого человека располагающей внешности и с манерами, приличествующими джентльмену. Он всегда был один и обычно занят чтением, однако вскоре я перестала считать наши все более частые встречи случайными, а также поняла, что при встречах его внимание гораздо более, нежели книга, привлекали мы с сестрой. Ему, по всей видимости, хотелось с нами заговорить, и он, безусловно, изыскал бы какую-нибудь возможность для этого, если бы таковая не предоставилась ему нечаянно, когда однажды воскресным утром на нас с сестрой по пути в церковь набросился бродячий пес, которого он отогнал, воспользовавшись этой маленькой услугой, чтобы завязать с нами знакомство. Он назвал свое имя – Фрэнсис Сомерс – и добавил, что гостит у родственника с той же фамилией, проживающего в нескольких милях от N***. Он сообщил, что изучает хирургию, имея виды занять медицинскую вакансию в одной из колоний. Не подумайте, сэр, что он настолько подробно посвятил нас в свои дела при первом же разговоре; нет, это произошло лишь после того, как знакомство укрепилось и он, с позволения матушки, не единожды посетил наш дом. С самого начала он не скрывал, что главным толчком к тому, чтобы завязать с нами знакомство, была симпатия, которую он ко мне почувствовал. Поскольку его виды на будущее выглядели довольно привлекательно, матушка не чинила препятствий его ухаживаниям, а я, признаюсь, принимала их не без удовольствия.

Проходили дни и недели; и, хотя из-за отдаленности нашего дома от местожительства его родственника видаться постоянно нам не удавалось, Фрэнсис тем не менее часто нас навещал. Перерыв составлял день или самое большее два, и это никоим образом не умаляло радости при новом его появлении после недолгого отсутствия. Со временем, однако, на лице Фрэнсиса все чаще стала выражаться задумчивость, и от меня не могло ускользнуть, что с каждым визитом он становился все более рассеянным и молчаливым. Пристрастный взгляд не замедлит подметить в том, кто дорог сердцу, и малейшие признаки беспокойности. Я заговаривала об этом с Фрэнсисом, пыталась его расспрашивать, но он отвечал уклончиво, и я перестала допытываться. Матушка, впрочем, тоже не преминула обратить внимание на его меланхолический вид и подступила к нему более решительно. Фрэнсис неохотно признал, что пребывает в подавленном настроении и что его удрученность вызвана необходимостью скорой, пусть и недолгой разлуки. Его дядя и единственный друг, пояснил он, давно настаивает на том, чтобы он провел несколько месяцев на континенте с целью завершить профессиональное образование, и срок отъезда быстро приближается. В моем взгляде выразился вопрос, который язык отказывался произнести. „Да, милая Мэри, – отвечал он, – я сообщил дядюшке о нашей взаимной привязанности, хотя и в немногих словах; не рискну утверждать, что он откликнулся на мое признание так, как мне того желалось, но все же, пожалуй, серьезных причин быть недовольным его ответом у меня нет.

Завершение образования и прочное профессиональное устройство должны, по словам дядюшки, стоять для меня на первом месте; по достижении этих практических целей он не станет противиться никаким шагам, буде они явятся существенными для моего счастья; в то же время он наотрез отказался одобрить в настоящий момент нашу помолвку: иначе, сказал он, как бы я не упустил из мыслей задачи, надлежащее решение которых помогло бы мне утвердиться в жизни. В итоге мне пришлось, хоть и через великую силу, пойти на компромисс между любовью и долгом. Я решился безотлагательно направиться за границу, полностью уверенный в том, что по прошествии года все препоны на пути к исполнению наших, надеюсь, взаимных желаний будут устранены“.

Не берусь описывать чувства, охватившие меня при этом известии; незачем и пересказывать наши с Фрэнсисом немногочисленные беседы до его отъезда из N***. Вечер перед самым своим отъездом он провел в нашем доме и, прежде чем мы расстались, вновь заверил меня в неизменности своей любви и потребовал ответных подтверждений с моей стороны. Я, нимало не колеблясь, исполнила его просьбу. „Не сомневайся, мой дорогой Фрэнсис, – сказала я, – что мое расположение, в котором я открыто тебе призналась, никогда не претерпит убыли и что в отрыве от тебя сердцем и душой я неизменно буду рядом“. – „Поклянись, – внезапно вскричал он с жаром, который поразил меня и слегка испугал, – поклянись, что, когда я буду далеко, твой дух по крайней мере будет со мной неразлучен!“ Я протянула Фрэнсису руку, но этого оказалось недостаточно. „Один из вот этих темных блестящих локонов, дорогая Мэри, станет залогом того, что ты не забудешь свою клятву!“ Я разрешила ему взять из моей рабочей корзинки ножницы, он отрезал прядь моих волос и спрятал ее у себя на груди. На следующее утро он был уже в дороге, и волны уносили его вдаль от Англии.

В первые три месяца отсутствия Фрэнсиса я часто получала от него письма: он писал о своем здоровье, надеждах, любви, однако мало-помалу письма стали приходить все реже, и мне почудилось, будто сердечность тона, поначалу свойственная нашей переписке, постепенно ослабела.

Однажды вечером я засиделась в спальне дольше обычного, сравнивая последнюю короткую записку Фрэнсиса с его предыдущими письмами и стараясь убедить себя в необоснованности своих подозрений относительно его непостоянства, как вдруг меня охватили страх и необъяснимая тревога. Ничего подобного я раньше не испытывала: пульс участился, сердце забилося с бешеной силой, меня испугавшей, и все тело сотрясла непонятная судорога. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, я поспешно улеглась в постель, но тщетно: моим сознанием завладело смутное предчувствие чего-то неведомого, и все усилия освободиться от него оказывались напрасными. Мое состояние можно уподобить лишь той растерянности, какую мы временами переживаем перед тем, как предпринять длительное и тягостное путешествие, расставаясь с теми, кого любим. Не раз и не два я садилась в постели и прислушивалась: мне чудилось, что меня кто-то окликает, сердце в груди колотилось все отчаянней. Дважды я едва удерживалась от того, чтобы позвать сестру, которая спала тогда в соседней комнате, но она легла в постель не совсем здоровой, и мне не хотелось тревожить ни ее, ни матушку; большие часы на нижнем этаже начали в эту минуту отбивать полночь. Я отчетливо слышала каждый удар, но прежде, чем бой прекратился, жгучая боль, словно к моим вискам приложили раскаленное железо, сменилась головокружением, а затем – обмороком, полной потерей сознания и памяти о том, где я и что со мной происходит.

Из оцепенения меня вывела боль – резкая, свирепая, пронзающая насквозь, словно все тело мне рассекали острым ножом, но где же я теперь находилась? Все вокруг было незнакомым: неясный сумрак делал все предметы расплывчатыми и неотчетливыми; мне, однако, представлялось, что я сижу в большом старинном кресле с высокой спинкой; поблизости стояли и другие такие кресла с черными резными спинками и плетеными сиденьями. Комната, где я очутилась, была средних размеров и, судя по покатоному потолку, помещалась в верхнем этаже здания; вдобавок за распахнутым окном ярко сияла полная луна, освещая громадную круглую башню, отчетливо видимая верхушка которой немногим превышала уровень моей комнаты. Справа в некотором отдалении различался шпиль кафедрального собора или большой церкви, а по множеству фронтонов и крыш жилых домов можно было догадаться, что я нахожусь в центре многолюдного, но неизвестного мне города.

Обстановка самой комнаты тоже казалась не совсем привычной: и мебель, и прочие принадлежности мало напоминали все то, что я видела прежде, или совсем на него не походили. Камин был большим и просторным, с двумя железными подставками для дров: это означало, что уголь в качестве топлива здесь, по-видимому, совсем не использовался; в камине полыхал

огонь, в отблесках которого легко было разглядеть и дальние уголки комнаты. Над массивной каминной полкой, сплошь покрытой резьбой, изображавшей цветы и фрукты, висел поясной портрет господина в темном иноземном костюме, с усами и остроконечной бородкой: одной рукой он опирался на столешницу, а в другой держал нечто вроде жезла или воинского флага-штока, увенчанного серебряным соколом. Дубовый стол, тяжеловесный и очень длинный, был окружен несколькими старинными креслами, схожими с теми, что упоминались выше. Мое кресло располагалось у одного края стола, на другом помещалась небольшая жаровня с раскаленными углями: время от времени они вспыхивали разноцветным пламенем, яркости которого уступало даже мощное свечение от полыхавшего камина. По обеим сторонам окна стояли два высоких застекленных шкафа черного дерева, покрытого лаком, с ножками наподобие когтистых лап; несколько полок занимали книги, и множество их было в беспорядке раскидано по полу; другой мебели в комнате не было. На столе возле жаровни валялись диковинные инструменты – невиданной формы и неизвестного назначения; сбоку висел мой миниатюрный портрет, отражавшийся в овальном зеркальце в рамке из темного дерева, а перед жаровней лежал раскрытый фолиант, испещренный странными знаками цвета крови; тут же стоял бокал с несколькими каплями жидкости того же кровавого цвета.

Но все мое внимание было приковано не к обстановке комнаты, которую я попыталась описать, а к двум фигурам по другую сторону стола. Это были два молодых человека во цвете лет, одинаково одетые – в длинные ниспадающие мантии из темной материи, стянутые алыми поясами; один из них, ниже ростом, посыпал угли в жаровне смолистым порошком, отчего они возгорались ярким, но неровным огнем, а к дрожащему язычку пламени его компаньон подносил прядь каштановых волос, которая съезживалась и тлела от жара. О боже! – эта прядь! – юноша, державший ее в руке! – черты его лица! – у меня не оставалось и тени сомнения – это был он – Фрэнсис! Локон в его руке принадлежал мне – это был тот самый залог верности – мой дар, и когда кончики волос касались огня, жар опалял висок, с которого он был срезан, пронизывая мой мозг непереносимой болью.

Рассказывать ли дальше? Но нет, это выше моих сил – даже вам, сэр, могу ли я, смею ли я изложить в подробностях нечестивые деяния, совершавшиеся той жуткой и позорной ночью? Продлилась моя жизнь на срок, соизмеримый с возрастом библейских патриархов, – и тогда эта гибельная скверна не изгладилась бы из моей памяти; и – о! это самое страшное: никогда не забыть мне дьявольского ликования, сверкавшего в глазах моих жестоких мучителей, когда они наблюдали за более чем бессмысленным сопротивлением своей несчастной жертвы. О, почему мне не дозволено было найти убежище в беспамятстве – нет, в самой смерти, – лишь бы спастись от мерзостей, не просто свидетельницей, но и соучастницей которых я была? Впрочем, довольно, сэр: я не стану более возмущать вас дальнейшим описанием сцены, для изображения всех ужасов которой любые слова, даже если я осмелилась бы к ним прибегнуть, оказались бы бессильными; скажу только, что во время пытки, сколь долго длившейся – мне неизвестно, однако никак не менее часа, снизу послышался шум, явно встревоживший моих истязателей; они прервали свое занятие, потушили огни, – и, пока шаги на лестнице делались все слышнее, мой лоб вновь опалил невыносимо жгучий жар, а взметнувшийся над жаровней язык пламени лизнул, испепеляя ее, новую часть локона. Муки того же рода, что и вначале, возобновились с еще большей силой; я вновь погрузилась в беспамятство, а когда память ко мне вернулась, состояние мое ничем не отличалось от теперешнего: истощение сил, вялость членов, дрожь по всему телу. Заслышав мои стоны, сестра поспешила на помощь, но далеко не сразу я нашла в себе решимость доверить даже ей эту чудовищную тайну: узнав о ней, она не пожалела усилий, дабы убедить меня в том, что все пережитое – не более чем убийственный ночной кошмар. Я замолчала, но осталась при своем мнении: сцена была такой живой, до жути неотличимой от действительности, что не давала повода усомниться в ее реальности; и если через несколько дней я, видя тщетность своих попыток убедить окружающих, внешне с ними согла-

силась, ничто не могло поколебать моей уверенности, что перенесенная мною в тот адский вечер пытка не объяснима ни одной причиной, которая бы сводилась к известным нам законам природы. Рассеялось бы со временем это твердое убеждение, смогла бы я в итоге считать все происшедшее со мной и все подробности, которые никогда не забуду, простой иллюзией – плодом разгоряченного воображения, порождением телесной слабости, – не знаю; прошлой ночью, однако, все эти мнимые обольщения улетучились бы бесследно, прошлой ночью – прошлой ночью весь этот жуткий спектакль был разыгран вновь. Место действия, исполнители, дьявольская машинерия были прежними; возобновились те же унижения, муки, жестокости – только пытка моя длилась не столь долго. Я почувствовала, как мне делают надрез на руке, хотя кто и каким инструментом – не видела; это явно обескуражило моих палачей, и пособник того, чье имя никогда более не сорвется с моих уст, с видимым беспокойством что-то шепнул своему напарнику, и мне с устрасающей внятностью продиктовали клятву самого что ни на есть чудовищного содержания. Я решительно отказалась ее повторить – последовали новые и новые требования вперемешку с угрозами, при одной мысли о которых меня бросает в дрожь, но я упорно стояла на своем; опять послышались шаги на лестнице: помеха была неотвратимой, спешно повторился тот же самый обряд, и я вновь, избежав неволи, оказалась у себя в постели, а надо мной проливали слезы мать с сестрой. О Господи! Господи! когда же и как настанет этому конец? Когда моему духу будет дарован покой? Где или у кого найду я приют?

Нет возможности дать хотя бы отдаленное представление о чувствах, которые вызвал во мне рассказ несчастной девушки. Не следует думать, будто ее повествование было столь же связным и непрерывным, каким я его постарался здесь изложить. Напротив, речь ее часто прерывалась краткими или длительными паузами; о многом из пережитого странного наваждения она говорила с величайшим трудом и весьма неохотно. Мне пришлось нелегко: еще никогда за долгие годы деятельного служения моему христианскому призванию не доводилось мне встречаться с чем-либо подобным.

Нередко я выслушивал уклончивое и сопровождаемое оговорками признание в совершенном проступке – и указывал тогда единственный путь, дабы обрести прощение. Мне удавалось приободрить впавших в уныние и порой обуздать безумие отчаяния, но тут мне предстояло сразиться с иным противником – одолеть глубоко укоренившееся предубеждение, очевидным образом поддержанное немалой долей суеверия вкупе с умственной слабостью, которая сопровождала телесный недуг. Опровергнуть логическими доводами столь прочно укоренившееся мнение представлялось безнадежной затеей. Я, однако, рискнул сделать это и заговорил о тесной таинственной связи, существующей между зрительными образами, с которыми мы сталкиваемся во время бодрствования, и теми, что преследуют нас в сновидениях, – в особенности при болезненном состоянии, обычно называемом ночным кошмаром. Я решился даже привести себя самого в качестве наглядного и живого примера того, к каким крайностям приводит порой чрезмерная работа фантазии, притом что, странным образом, мои впечатления в данном случае имели немалое сходство с впечатлениями Мэри. Я описал ей, как, едва оправившись после эпилептического припадка, приключившегося со мной года два тому назад, незадолго до отъезда Фредерика из Оксфорда, я лишь с величайшим трудом смог убедить себя, что не навещал его в это время в Брейзнуэзе, где он проживал, и не беседовал с ним и его другом У***, который сидел в его кресле и смотрел через окно на статую Каина посреди четырехугольного двора. Я рассказал Мэри о боли в начале и в конце приступа и о наступившей затем крайней слабости, однако старания мои оказались тщетными: хотя она и слушала меня завороченно, затаив дыхание, в особенности когда я упомянул о точно таком же нестерпимом жжении в мозгу – беспорочном симптоме названного недуга, что и доказывало тождественность нашего недомогания, – однако одно было совершенно очевидно: мне ни на йоту не удалось поколебать засевшее в ней заблуждение; Мэри по-прежнему непреклонно верила, что ее дух

посредством неких нечестивых и кощунственных ухищрений и в самом деле на какое-то время был вырван из своего земного обиталища».

Следующий отрывок из записей моего друга, приводимый мной ниже, датирован 24 августа – спустя более чем неделю после его первого визита в дом миссис Грэм. За этот промежуток времени, судя по его бумагам, он не однажды навещал бедную девушку с намерением дать ей духовное утешение, на что никто другой, кроме него, не был способен. Его подопечная (таковой в религиозном смысле ее можно с полным основанием назвать) день ото дня слабела от последствий пережитого ею потрясения; непрерывный страх, что эти муки повторятся, слишком разрушительно воздействовал на ее уже подорванное здоровье, и жизнь ее казалась подвешенной на тонкой нити. Мой друг продолжал:

«Только что посетил бедняжку Мэри Грэм – боюсь, что в последний раз. Жизненная энергия в ней приметным образом иссякает: она сознает, что дни ее сочтены, и ждет конца земного существования не просто со смирением, но скорее радостно. Очевидно, что во многом на это повлиял пережитый ею кошмар – или „похищение“, как она упорно его именует. За последние три дня Мэри изменилась: она избегает говорить о своем заблуждении и, кажется, дает мне понять, что мое истолкование происшедшего ее убедило. Отчасти это, возможно, вызвано легкомысленным отношением ее медицинского консультанта – мистера А***, который, полагая, что увиденный сон чрезмерно ее переволновал, надеется шутками разогнать ее мрачные мысли, – на мой взгляд, это вряд ли разумно; искусный врачеватель и добросердечный человек, он еще слишком молод и обладает жизнерадостным напором, мало уместным в комнате впечатлительной больной. Мэри сделалась гораздо более замкнутой в общении с нами обоими: что касается меня, то, вероятно, она подозревает, будто я выдал ее тайну.

Августа 26-е. Мэри Грэм еще жива, но угасает на глазах; в обращении со мной она вернулась к прежней сердечности, поскольку вчера сестра ей призналась, что сама проговорила мистеру А*** о жутком видении, которое так потрясло ее умственный состав. Со стороны Мэри по отношению ко мне вернулась былая доверительность. Утром она меня спросила очень серьезным тоном: каким я представляю себе положение отлетевших душ в промежутке между кончиной и днем последнего суда? И полагаю ли, что в ином мире им не будет грозить опасность от преступной воли злоумышленников, кои заручились средствами за пределами человеческого разума? Бедное дитя! Не может быть двух мнений о том, чем занято ее сознание. Бедное дитя!

Августа 27-е. Конец близится: Мэри осталось жить недолго, она отходит мирно и без страданий. Я только что ее причастил, святые дары разделила с ней ее матушка. Элизабет уклонилась: сказала, что все еще не в силах простить негодяя, сгубившего сестру. Достоин удивления, что она – молодая здравомыслящая женщина, хорошо разбирающаяся в практических делах, – с такой легкостью подхватила (и продолжает в нем упорствовать) это вопиюще нелепое ребяческое суеверие. Позднее мы с этим основательно разберемся, сейчас же, у смертного одра ее сестры, любые доводы бесполезны. Мать Мэри, как я узнал, написала младшему Сомерсу письмо, известив его об опасности, грозящей его невесте; она справедливо возмущена его долгим молчанием и, к счастью, ничего не знает о подозрениях, питаемых дочерью. Я видел это письмо: оно адресовано мистеру Фрэнсису Сомерсу на Хогеверд, Лейден, – выходит, однокашнику Фредерика. Надо будет поинтересоваться, знаком ли он с этим молодым человеком».

Мэри Грэм умерла, по-видимому, той же ночью. Перед кончиной она вновь изложила моему другу поразительную историю, рассказанную ею ранее, без существенных отклонений от первоначальной версии. До последнего вздоха она продолжала настаивать на том, что ее

недостойный возлюбленный практиковал на ней запретные искусства. Она вновь в малейших деталях описала ту комнату и даже внешность сомнительного компаньона Фрэнсиса: тот был, по ее словам, среднего роста, с грубыми чертами лица и приметным шрамом на левой щеке, пересекавшим ее от глаза к носу. Несколько страниц в рукописи мой друг уделил размышлениям об этой необычайной исповеди, завершившейся столь прискорбной развязкой: все это, несомненно, на него глубоко подействовало. Он упоминает о своих неоднократных беседах с сестрой Мэри и корит себя за то, что не преуспел в попытках ее урезонить и показать все безрассудство ее теории касательно возникновения и сущности роковой болезни.

Записи на эту и на другие темы мой друг продолжал примерно до середины сентября; затем следует перерыв, вызванный, несомненно, гнетущим известием об опасном состоянии его внука, которое побудило его незамедлительно отправиться в Голландию. С прибытием в Лейден он, как уже упоминалось, опоздал. Фредерик С*** после тридцати часов страданий скончался от раны, полученной им на дуэли с собратом-студентом. О причине дуэли шли разные толки, однако, по версии домовладельца, раздор вспыхнул из-за нелепого спора о сне, приснившемся его сопернику, который и бросил вызов. Именно так, во всяком случае, изложил дело друг Фредерика и его сожитель У***, бывший на поединке секундантом, чем исполнил долг перед почившим, от которого с год назад потребовал услугу того же рода в сходной ситуации, когда и сам был тяжело ранен в лицо.

Из того же источника я узнал, что мой бедный друг был весьма расстроен, когда выяснилось, что он прибыл слишком поздно. Владелец дома – почтенный торговец – проявил по отношению к нему всяческую заботу и подготовил для него комнату; книги и немногие пожитки умершего были ему переданы вместе с должным образом составленной описью; и хотя до Лейдена он добрался поздно вечером, он все же настоял, чтобы его тотчас провели в комнату, которую занимал Фредерик, чтобы там предаться первым скорбным чувствам, а уж затем удалиться к себе. Итак, мадам Мюллер сопровождала его в комнату, расположенную в верхней части дома, вдали от уличного шума: ее-то, благодаря уединенности, Фредерик и избрал для своих занятий. Войдя, доктор взял у своей проводницы лампу и знаком попросил оставить его одного. Его безмолвно выраженное желание было, конечно же, исполнено, и прошло почти два часа, прежде чем добросердечная хозяйка решила вновь подняться по лестнице и уговорить постояльца сесть за ужин, от которого поначалу он наотрез отказался. Просьба войти осталась без ответа: женщина повторила ее не раз, но с тем же успехом; когда же, встревоженная затянувшимся молчанием, отворила дверь, то обнаружила своего нового жильца простертым без чувств на полу. Спешно были применены сильнодействующие средства, и безотлагательная медицинская помощь вернула наконец ему сознание. Однако от испытанного им шока несчастный страдалец на протяжении немногих оставшихся ему недель оправиться до конца так и не сумел. Мысли его беспрестанно блуждали; и хотя по причине крайне поверхностного знакомства с английским языком из сказанного им его хозяева мало что смогли уловить, этого было довольно для того, чтобы понять: жизненные способности гостя подкосило нечто большее, нежели простой факт гибели внука.

Когда его нашли на полу, в правой руке он крепко сжимал чей-то миниатюрный портрет. Медальон принадлежал Фредерику, и Мюллерам не однажды случалось его видеть. Больной только о нем и говорил – и ни на минуту не выпускал его из рук; стискивая его, он и умер. По моей просьбе портрет передали мне. Это было изображение молодой девушки в английском домашнем платье, с приятными правильными чертами лица – кроткими и слегка задумчивыми, и что-то в них показалось мне знакомым. Лет ей было приблизительно двадцать. Густые темно-каштановые волосы над безукоризненно чистым лбом разделял прямой пробор, и только слева свисал один-единственный локон. Под стеклом, вделанным в обратную сторону медальона, виднелся блестящий локон того же цвета, явно принадлежавший девушке с портрета; сам золотой медальон был украшен вензелем «М. Г.» и датой: 18**. Сделать какие-

либо выводы тотчас по изучении портрета я не смог; мало что прояснилось и наутро, когда в письменном столе Фредерика я наткнулся на портрет самого доктора с приложенными к нему двумя различными прядями волос. Одна из прядей – короткая, заметно тронутая сединой – была, несомненно, срезана когда-то с головы моего давнего друга; другая прядь ни по цвету, ни по виду не отличалась от локона на оборотной стороне медальона. И только по прошествии нескольких дней, после того как останки достойного доктора мирно упокоились в тесном обиталище, я однажды вечером, накануне намеченного на утро возвращения в родные места, разбирая бумаги покойного, наткнулся на записи, приведенные мною выше. Внимание мое привлекло имя несчастной юной девушки, о которой в них шла речь. Мне тотчас же вспомнилось, что так зовут одну из моих прихожанок, и я не замедлил узнать ее в изображении на миниатюрном портрете.

Я не вставал из-за стола, пока не прочитал этот необычайный документ от первой строки до последней. Час был поздний, и единственная лампа едва освещала дальние углы комнаты, где я сидел. Зато в окно лилось яркое сияние полной луны, не скрытой за облаками, которое и разгоняло темноту. Раздумывая о печальных перипетиях из только что прочитанной рукописи, я встал и подошел к окну. Дивное светило стояло высоко в небе, заливая оснеженные крыши домов ослепительным блеском и переливаясь изумрудными искрами в гроздьях свисавших сосулек. Это безмолвие отвечало моему душевному состоянию. Я растворил оконную раму и выглянул наружу. Далеко внизу водная поверхность главного канала сверкала в лучах луны широким зеркалом. Слева высился Бурхт – гигантская круглая башня внушительного вида с амбразурами в верхней части; по левую сторону в отдалении величественно вздымались шпиль и башенки кафедрального Лейденского собора, представлявшего взгляду образец редкостной, хотя и строгой красоты. Безмятежного зрителя, не обремененного раздумьями, этот мирный пейзаж преисполнил бы восхищением. На меня же он подействовал будто электрический разряд. Я торопливо обернулся, чтобы окинуть взглядом комнату, в которой находился. Она служила покойному Фредерику С*** кабинетом. Стены ее были обшиты темными панелями; старомодная полка над просторным камином напротив меня с отполированными железными подставками для дров была богато изукрашена резьбой во фламандском стиле, из цветов и плодов; над камином висел портрет хмурого господина в кружевном воротнике, с усами и остроконечной бородкой; одной рукой он опирался на стол, а в другой держал маршальский жезл с серебряным соколом наверху; и то ли мое разгоряченное воображение сыграло со мной шутку, то ли это было взаправду, но губы господина искривились, словно бы в усмешке злобного торжества, и он вперил в меня холодный свинцовый взгляд, также не суливший ничего доброго. Тяжелые старинные кресла с плетеными спинками; массивный дубовый стол; книжные полки, разбросанные фолианты – все, все было на месте; и, в довершение картины, по обе стороны, справа и слева от окна, когда я, задыхаясь, прислонился к раме, стояли высокие шкафчики из черного дерева, в отполированных дверцах которых единственная лампа на столе отражалась, точно в зеркале.

Что я должен обо всем этом думать? Могло ли случиться, что прочитанную мной историю мой несчастный друг написал здесь, в полубредовом состоянии? Нет, это исключено! И, кроме того, все меня заверяют, что с того рокового вечера, самого первого по прибытии, он не покидал постели и не касался пером бумаги. Просьбы вызвать меня сюда из Англии он выражал устно – в те немногие и короткие промежутки, когда разум частично к нему возвращался. Так возможно ли, что?.. У***! Но где же тот, кто один мог бы пролить свет на эту чудовищную тайну? Неизвестно. Он скрылся, по-видимому, сразу после дуэли. Следы его потеряны, и даже после многократных настойчивых расспросов мне не удалось установить, подвизался ли когда-либо в Лейденском университете студент, известный под именем Фрэнсиса Сомерса.

На небе и земле сокрыто больше,
Чем умствованью вашему приснится!!

Джордж Элиот

Приоткрытая завеса

*Пусть будет мне ниспослан только свет,
Чья сила единит людей друг с другом,
И лишь одно богатство в дар дано —
Что делает взрослых; иных не надо¹.*

Перевод М. Куренной

1

Конец мой близок. В последнее время я подвержен приступам грудной жабы и – по словам моего врача – при обычном течении болезни вправе надеяться на скорое избавление от мучений. Если только, к моему несчастью, природа не наделила меня исключительной физической конституцией – как наделила исключительным складом психики, – мне недолго осталось стонать под тяжким бременем земного существования. Если же все сложится иначе и мне суждено будет дожить до возраста, которого стремится достигнуть и достигает большинство людей, я хотя бы раз получу возможность сравнить муки тщетного ожидания с муками истинного предвидения. Ибо я предвижу день своей кончины и все обстоятельства последних минут жизни.

Ровно через месяц, двадцатого октября тысяча восемьсот пятидесятого года, в девять часов вечера я буду сидеть в этом самом кресле в своем кабинете, мечтая о смерти, – бесконечно уставший от своего дара предвидения и проникновения в сущность вещей, лишенный всех надежд и иллюзий. Я буду смотреть на пляшущий язычок голубого пламени в слабо горящей лампе и вдруг почувствую страшное давление в груди. Перед приступом удушья я едва успею дотянуться до звонка и сильно дернуть за шнур. Никто не откликнется на звонок. Я знаю почему. Находящиеся у меня в услужении мужчина и женщина состоят в любовной связи и в тот день будут ссориться. Моя домоправительница двумя часами раньше в ярости вылетит из дому в надежде заставить Перри поверить, будто она побежала топиться. Перри в конце концов встревожится и последует за ней. Молоденькая судомойка спит на скамье: во сне она не слышит звонка и не просыпается. Удушье становится все сильнее; лампа гаснет, распространяя вокруг невыносимый смрад. Я делаю отчаянное усилие и еще раз дергаю за шнур колокольчика.

Я страстно хочу жить, но никто не идет мне на помощь. Я жажду неведомого, но жажда прошла. О Боже, позволь мне жить с моим знанием и изнывать под сим бременем: я всем доволен.

Мучительная агония, удушье... но как же земля, поля, ручей с каменистым дном на птичьем гнездовье, напоенный ароматом свежести воздух после дождя, утренний свет в окне спальни, тепло очага, особенно приятное с мороза?.. Неужели тьма поглотит все это навсегда?

Тьма... тьма... боли нет... нет ничего, кроме тьмы. Но я лечу все дальше и дальше в крошечном мраке. Сознание мое погружено во тьму, но ощущение некоего движения пребывает в нем...

Но пока не настал этот день, я хочу использовать последние часы досуга и остаток сил для того, чтобы поведать странную историю моей жизни. Ни одному человеческому существу

¹ Перевод С. Антонова.

я никогда не доверялся полностью. И никогда не решался поверить окончательно в искреннее расположение своих друзей. Но за гранью бытия все могут рассчитывать на жалость, нежность и милосердие. Ведь только живые не получают прощения; только живые лишены снисхождения и уважения окружающих, как небо при сильном восточном ветре лишено возможности пролиться дождем. Пока сердце бьется, сдерживайте его порывы, ибо это ваша единственная возможность выжить. Пока взор увлажненных глаз, робкий и молящий, еще обращается к вам, ответьте на него ледяным отчужденным взглядом. Пока ухо – сей утонченный проводник звуков к святой святых души – еще в состоянии воспринимать тоны доброты, откажитесь от его услуг с холодной любезностью, насмешливым комплиментом или нарочитым безразличием. Пока творческий ум может еще возмущаться несправедливостью и жаждать братской любви, подавите скорее его стремления мелкими мыслями, пошлыми сравнениями и бездумно искаженными истинами. Сердце постепенно успокоится – «ubi sæva indignatio ulterius cor lacerare nequit»²; глухота поразит слух; ум освободится от всех желаний, в том числе и от желания мыслить. Тогда все наши милосердные речи найдут выход. Тогда вы сможете вспомнить и пожалеть о труде, борьбе и поражении; сможете должным образом оценить достигнутое, найти частичное оправдание ошибкам и предать их забвению.

Это банальные рассуждения, достойные мальчишки, – почему они занимают меня? Эти мысли не имеют ко мне никакого отношения, поскольку я не оставлю после себя никаких творений, достойных восхищения людей. У меня нет близких родственников, которые будут рыдать на моей могиле, сожалея о некогда причиненных мне обидах. Это всего лишь история моей жизни; возможно, она пробудит в посторонних людях чуть больше сочувствия ко мне мертвому, нежели пробудила бы в моих друзьях ко мне живому.

Детство мое видится мне более счастливым, чем было на самом деле, – вероятно, по контрасту с последующими годами. Ибо тогда я, подобно другим детям, не проникал взором за завесу, скрывающую от нас будущее. Как и другие дети, я в полной мере наслаждался настоящим и питал сладкие неясные надежды на завтрашний день. И у меня была любящая мать. Много долгих печальных лет минуло с той поры, но до сего времени неуловимое движение души всегда сопутствует воспоминанию о том, как я сижу у нее на коленях: нежные руки матери обнимают мое маленькое тельце и щека ее прижата к моей щеке. Я страдал от болезни глаз и на некоторое время потерял зрение – и мама держала меня на коленях с утра до вечера. Эта ни с чем не сравнимая любовь скоро исчезла из моей жизни; и даже детским умом своим я почувствовал, что частица тепла ушла из оной. Я по-прежнему катался на маленьком белом пони в сопровождении грума, но любящие глаза уже не следили за мной, и ласковые руки не заключали меня в объятия, когда я возвращался с прогулки. Наверное, я тосковал по материнской любви больше, чем тосковал бы любой другой мальчик семи-восьми лет, не лишенный прочих радостей жизни, – ибо я, безусловно, был чрезвычайно чувствительным ребенком. Я до сих пор помню тот трепет и сладостное возбуждение, которые вызывал во мне топот конских копыт по гулкому мощеному полу конюшен, раскатистые голоса грумов, залиvistый лай собак, грохот въезжавшей во двор отцовской коляски под сводами арки и звон гонга, возвещавший о времени завтрака или обеда. Изредка доносившаяся до моего слуха размеренная тяжелая поступь солдат (неподалеку от нашего дома находился главный город графства с множеством казарм) заставляла меня дрожать и плакать. Однако, когда солдаты проходили мимо, я страстно желал их возвращения.

Полагаю, мой отец считал меня странным ребенком и не питал ко мне особенной любви, хотя в высшей мере добросовестно выполнял в отношении меня все, что разумел под родительскими обязанностями. Но он уже оставил большую часть жизненного пути за спиной, и я не был единственным его сыном. Моя мать была его второй женой, и он женился на ней в воз-

² Надпись на могиле Свифта [«Там, где суровое негодование не может более терзать сердце усопшего» (лат.)].

расте сорока пяти лет. Твердый, непреклонный, чрезвычайно дисциплинированный человек, банкир до мозга костей, под влиянием деревенской жизни мой отец, однако, приобрел некоторые черты энергичного землевладельца. Люди, подобные ему, никогда не изменяют своим привычкам, ни в малейшей степени не зависят от погоды и не знают ни меланхолии, ни приподнятого настроения. Я испытывал перед отцом благоговейный страх и в его присутствии казался еще более робким и чувствительным, чем обычно. Последнее обстоятельство, вероятно, и утвердило его в намерении дать мне образование, отличное от традиционного, каковое получил мой брат, в то время бывший уже рослым юношей, студентом Итона. Брат считался преемником и основным наследником отца и должен был учиться в Итоне и Оксфорде исключительно с целью завести полезные знакомства и связи. Отец не мог недооценивать влияние римских сатириков и греческих драматургов на положение человека в высшем свете, однако на деле мало ценил «тех мертвых, но царственных гениев» и сформировал свое мнение о них, бегло пролистав Эсхила Поттера и Горация Фрэнсиса. После ряда торговых операций в области горной промышленности к его отрицательному взгляду на литературу и искусство прибавилось одно положительное заключение: только техническое образование способно принести действительную пользу младшему сыну. Кроме того, такой застенчивый и впечатлительный мальчик, как я, явно не смог бы приспособиться к существованию в суровых условиях общественной школы. Мистер Летералл заявил об этом со всей решительностью. Он – огромный человек в очках – однажды взял мою маленькую голову в свои громадные руки и принялся сосредоточенно и подозрительно ощупывать ее, потом легко сдвинул мне виски большими пальцами, немного отстранился назад и уставился на меня сквозь сверкающие очки. Очевидно, мистер Летералл остался недоволен результатами осмотра, ибо мрачно нахмурился и сказал отцу, проведя пальцами над моими бровями:

– Здесь недоразвитие, сэр. А вот здесь, – добавил он, дотрагиваясь до моей макушки, – большая выпуклость. Значит, этот отдел мозга нужно разрабатывать, а деятельность этого необходимо затормозить.

Я дрожал всем телом – отчасти из-за смутной обиды на то, что меня забраковали, а отчасти от возбуждения, вызванного впервые испытанной мною ненавистью – ненавистью к этому большому человеку в очках, который бесцеремонно мял и вертел мою голову, словно хотел купить ее по дешевке.

Не знаю, какое отношение имел мистер Летералл к программе обучения, впоследствии предложенной мне, но очень скоро стало ясно, что частные преподаватели, естествознание, наука и современные языки являются для меня единственными возможными средствами исцеления. Я ничего не понимал в механизмах, и потому мне предписывалось усиленно заниматься ими. У меня не хватало памяти на системы и категории, и потому мне было совершенно необходимо изучать систематическую зоологию и ботанику. Я интересовался человеческими деяниями и движениями человеческой души, поэтому мне забивали голову понятиями механических сил, элементарных частиц, электричества и магнетизма. Более здоровый мальчик, безусловно, извлек бы для себя пользу из занятий с образованными преподавателями, располагавшими научной аппаратурой, и, несомненно, нашел бы явления электричества и магнетизма именно такими интересными, какими их каждый четверг мне пытались представить мои учителя. Как бы то ни было, в силу полной неспособности постичь науки, которым меня обучали, я скоро вполне смог бы соперничать в своей образованности со слабейшим филологом-латинистом, когда-либо выходившим из стен классической академии. Я тайком читал Плутарха, Шекспира и «Дон Кихота» и блуждал в мире грез, в то время как мой наставник уверял меня, что развитой человек, в противоположность невежественному, есть человек, знающий причины, по которым вода стекает со склона. Я не имел никакого желания быть этим развитым человеком. Вид бегущего с горы ручья радовал меня. Я мог часами слушать журчание воды между камнями и следить за струением ярко-зеленых водорослей на дне потока. Я не

знал, почему ручей бежит, но был твердо убежден: явление, настолько прекрасное, не может существовать на свете без веских на то оснований.

Нет нужды подробно останавливаться на этом периоде моей жизни. Я достаточно ясно показал, что с детства отличался характером чувствительным и непрактичным, который формировался в совершенно чуждой для него среде и посему никак не мог развиваться в характер здоровый и счастливый. Когда мне исполнилось шестнадцать, отец послал меня в Женеву завершать образование. Перемена обстановки стала счастьем для меня, ибо впервые открывшаяся моему взору при спуске с Юры панорама Альп, освещенных лучами закатного солнца, показалась мне преддверием рая, и все три года своей жизни там я постоянно пребывал в состоянии радостного возбуждения – словно после глотка вина – от сознания близости к Природе во всем ее сверхъестественном очаровании. Возможно, моя рано проявившаяся способность чувствовать Природу наведет вас на мысль о том, что я был поэтом. Увы, небо не дало мне такого счастья. Поэт исторгает из себя песню и верит в чуткое ухо и отзывчивую душу, до которых она рано или поздно долетит. Но чувствительность поэта при отсутствии голоса – чувствительность, которая находит выход только в тихих слезах на солнечном берегу у ослепительно сверкающей глади воды или в глубоком содрогании всего существа, вызванном чьим-то грубым голосом или холодным взглядом, – подобная немая страсть делает человека несчастным и одиноким душой в кругу друзей и знакомых. Меньше всего я чувствовал свое одиночество, когда вечером выплывал на лодке на середину озера: мне казалось тогда, что небо, горящие в лучах заката горные вершины и голубые водные пространства дышат нежной любовью ко мне, какой я не встречал ни в одном человеке с тех пор, как материнская любовь исчезла из моей жизни. По примеру Жан-Жака я ложился навзничь в лодке и давал ей плыть по течению, а сам смотрел, как одна за другой меркнут вершины гор, словно огненная колесница пророка пролетает над ними по пути в пределы вечного света. Потом, когда снежные пики погружались в печальную тьму и словно умирали, я спешил домой, поскольку жил под надзором бдительных слуг и не имел разрешения на поздние прогулки. Положение мое не способствовало установлению близких дружеских отношений с многочисленными юношами моего возраста, проходившими обучение в Женеве. Однако с одним из них я все-таки сблизился. Как ни странно, другом моим стал человек со складом ума, полностью противоположным моему. Я назову его Чарльз Менье: подлинная фамилия его (английская, ибо он англичанин по происхождению) с тех пор приобрела большую известность. Он был сиротой и существовал на скудное вспомоществование, пока проходил курс обучения медицине, к которой имел особый дар. Странно, что я со своим блуждающим умом – впечатлительным и рассеянным – потянулся к юноше, чьей сильнейшей страстью была наука. Но наша дружба носила не интеллектуальный характер. Подобные ей узы самым счастливым образом могут связать глупца с гением: в основе нашей дружбы лежала общность чувств. Бедный и некрасивый, Чарльз являлся предметом насмешек для городских мальчишек и не был вхож в хорошие дома. Я увидел, что он одинок, подобно мне – хотя и по другим причинам, – и, движимый сочувствием и жалостью, предпринял робкую попытку сближения. Между нами мгновенно возникла дружба, такая крепкая, какая только возможна между двумя людьми с совершенно разными характерами. В редкие выходные дни Чарльза мы вместе поднимались к Салев или уплывали на лодке к Веке – и я сонно внимал монологам товарища, в которых он развивал свои смелые идеи относительно будущих научных опытов и открытий. Речи его причудливо мешались в моем рассеянном сознании с блеском голубой воды и легким летучим облачком, с пением птиц и сверканием далекого ледника. Чарльз прекрасно знал, что мысли мои витают где-то далеко, однако любил разговаривать со мной подобным образом: ибо разве мы не поверяем свои надежды и планы даже собакам и птицам, которые любят нас? Я упомянул о своем друге, поскольку впоследствии он будет иметь отношение к странным и ужасным событиям моей жизни, рассказ о которых еще впереди.

Счастливой жизни в Женеве положила конец тяжелая болезнь, во время которой черные провалы в памяти чередовались с периодами полубытья: я смутно ощущал свои физические страдания и неясно сознавал присутствие отца у постели. Затем медленно потянулись похожие один на другой дни выздоровления, однако постепенно они обретали вполне конкретные и своеобразные черты, по мере того как я набирался сил для все более продолжительных прогулок. В один из тех наиболее ярко запомнившихся мне дней отец сказал мне, опустившись рядом со мной на диван:

– Когда ты достаточно окрепнешь для путешествия, Лэтимер, я отвезу тебя домой. Путешествие доставит тебе удовольствие и пойдет на пользу, ибо мы поедем через Тироль и Австрию и ты увидишь много новых мест. Наши соседи Филморы тоже едут. Альфред присоединится к нам в Базеле, и мы все вместе двинемся в Вену, а затем вернемся через Прагу...

Отец не успел закончить фразу, поскольку в этот момент его срочно позвали куда-то. Последнее слово – Прага – осталось в моем сознании, и постепенно мне представилась незнакомая и прекрасная картина: город, залитый лучами яркого солнца – ослепительного летнего солнца, словно замершего на месте много веков назад и давно забывшего свежесть утренних рос и проливных дождей; оно сжигало пыльное, печальное, источенное временем творение людей, обреченных вечно жить в кругу мертвых воспоминаний, подобно низложенным престарелым властителям в изорванных, расшитых золотом царских одеяниях. Город выглядел раскаленным, и широкая река темнела листом металла. И почерневшие статуи святых в старинных одеждах и венцах, под пустыми взглядами которых я проходил по бесконечно длинному мосту, казались мне подлинными обитателями и владельцами сего места, а толпы куда-то спешивших обычных мужчин и женщин представлялись роем крохотных эфемерных созданий, населивших город на один-единственный день. Именно такие суровые каменные существа, как эти, подумалось мне, были отцами древних поблекших детищ, обитающих в выгоревших и источенных временем зданиях, которые теснятся на крутом склоне горы передо мной: они населяют обветшалый дворец с облупленными стенами, однообразно простирающимися вверх и в стороны; они устало служат Господу в душных церквах, без надежды и страха – обреченные небом на вечную старость и бессмертие, на существование в привычной неподвижности под солнцем вечного полдня; лишенные счастья вкусить ночной покой и узреть рождение нового утра.

Внезапно оглушительный звон металла заставил меня вздрогнуть; я вновь вернулся к действительности и увидел вокруг знакомую обстановку своей спальни. Один из каминных приборов упал, когда Пьер открыл дверь и вошел в комнату с лекарством для меня. Сердце бешено колотилось в моей груди, и я попросил слугу оставить лекарство на столике возле дивана.

Оставшись в одиночестве, я глубоко задумался: спал я или нет? Было ли сном это замечательно отчетливое видение – отчетливое до мельчайших деталей вроде радужного блика на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды, – видение странного города, совершенно мне незнакомого! Я не видел картин с видами Праги: представление об этом городе ограничивалось для меня одним географическим названием и смутными историческими ассоциациями – неопределенными воспоминаниями об имперском величии и религиозных войнах.

Никогда прежде подобные сновидения не посещали меня, и я порой испытывал некоторое чувство унижения, поскольку лишь частые ночные кошмары спасали меня от совершенно заурядных снов, бессмысленных и бессвязных. Но мне не верилось, что я спал: ведь я отчетливо помнил, как картина постепенно появлялась перед моим внутренним взором, как одна за другой проступали на ней все новые детали и пейзаж обретал все более определенные очертания, словно выплывал из утреннего тумана после восхода солнца. И пока видение это еще только складывалось в моем воображении, я слышал, как Пьер доложил моему

отцу о приходе мистера Филмора и отец поспешно вышел из комнаты. Нет, то был не сон. Возможно, это моя поэтическая природа (сия мысль повергла меня в экстатический трепет) внезапно нашла выражение в стихийном творении фантазии! Безусловно, именно таким образом Гомер увидел равнину под стенами Трои, Данте – обитель мертвых, а Мильтон – полет Искуителя к Земле. Может, моя болезнь неким счастливым образом сказала на моем состоянии – усугубила напряжение нервов, уничтожила в мозгу какую-то незримую преграду? Я часто читал о подобных случаях, по крайней мере в произведениях художественной литературы. Более того, в биографиях исторических личностей я встречал упоминания о воздействии некоторых болезней на рост и обострение умственных способностей человека. Разве не чувствовал Новалис по мере развития чахотки все больший творческий подъем?

Некоторое время я обдумывал эту счастливую догадку и наконец решил проверить ее известным напряжением воли. Видение начало складываться в моем сознании, когда отец заговорил о поездке в Прагу. Я ни минуты не верил, что моему воображению представился существующий в действительности город. Я надеялся, что мой внезапно освобожденный гений с лихорадочной поспешностью нарисовал эту картину в моем уме красками, извлеченными из ленивой памяти. Предположим, я начну напряженно думать о каком-нибудь другом городе – например, о Венеции, гораздо более знакомой моему воображению. Вероятно, результат будет приблизительно таким же. Мысленно сосредоточившись на Венеции, я попытался возбудить свой мозг различными поэтическими ассоциациями и почувствовать собственное присутствие в этом городе так же явственно, как ощущал свое присутствие в Праге. Но тщетно. Я просто-напросто мысленно раскрашивал гравюры Каналетто, висевшие у меня в спальне в отцовском доме. Картины сменяли одна другую, поскольку внутренний взор мой беспомощно блуждал в поисках более ярких образов. Ни одного случайного предмета, ни одной тени я не мог представить без преднамеренной работы мысли. Эти прозаические усилия ума ничем не напоминали восхитительное состояние полной пассивности сознания, испытанное мной полчасом ранее. Я почувствовал разочарование, но помнил, что вдохновение непостоянно.

Несколько дней я пребывал в сильном возбуждении, ожидая следующего проявления своего нового дара. Я направлял мысли во все уголки своего сознания в надежде найти некий объект, который вновь заставил бы затрепетать и очнуться мой дремлющий гений. Но увы! Мир моих представлений оказался погруженным во тьму, как прежде, и странная ослепительная вспышка больше не повторялась, хотя я в трепетном волнении ожидал ее.

Мой отец каждый день сопровождал меня на прогулках, которые становились все длинней, по мере того как физические силы возвращались ко мне. Однажды вечером он пообещал зайти за мной в двенадцать часов следующего дня, дабы мы могли вместе пойти купить музыкальную шкатулку и прочие безделушки, какие в обязательном порядке вещей должен приобрести богатый англичанин во время визита в Женеву. Отец был одним из самых пунктуальных людей вообще и банкиров в частности, и я всегда прилагал усилия к тому, чтобы не заставлять его меня ждать. Но к великому моему удивлению, в пятнадцать минут первого он еще не появился. Меня охватило лихорадочное возбуждение выздоравливающего человека, которому совершенно нечем заняться и который только что принял действенное тонизирующее средство перед утомительным походом, требующим значительных сил.

Я не мог усидеть на месте и принялся расхаживать взад-вперед по комнате, поглядывая в окно на вытекавшую из темно-синего озера Рону, но раздумывая в это время о возможных причинах задержки моего отца.

Внезапно я осознал, что отец находится в комнате, но не один, а еще с двумя особами. Странно! Я не слышал никаких шагов и не видел, чтобы дверь открывалась. Однако в гостиной был отец, и по правую руку от него стояла наша соседка, миссис Филмор, которую я очень хорошо помнил, хотя и не видел последние пять лет. Это была самая обыкновенная дама средних лет, в платье из шелка и кашемира. Слева же от отца стояла молодая женщина не старше

двадцати лет: высокая, тонкая и гибкая, с роскошными золотистыми волосами, заплетенными в косы и уложенными на голове в причудливую прическу, которая казалась слишком тяжелой и громоздкой для хрупкой фигуры и тонкогубого лица с мелкими чертами. Но лицо незнакомки не производило впечатления девического из-за резкости черт и острого, беспокойного и саркастического взгляда светло-серых глаз. Глаза эти смотрели на меня с насмешливым любопытством, и я испытывал болезненное ощущение, словно ледяной ветер пронизывал все мое существо. Бледно-зеленое платье и окаймлявший золотистые волосы веночек из зеленых листьев навели меня на мысль о водяной фее, поскольку я в то время бредил немецкой лирикой, а эта бледная девушка с роковыми глазами и в венке из водорослей казалась порождением какого-то заросшего осокой холодного потока, дочерью древней реки.

– Извини, Лэтимер, я немного опоздал, – произнес отец...

Но последнее слово еще звенело у меня в ушах, когда все трое вдруг исчезли и никого не осталось между мной и стоявшей перед дверью китайской ширмой. Я обливался холодным потом и дрожал всем телом – и мне хватило сил лишь дойти неверными шагами до дивана и упасть на него. Этот странный новый дар вновь обнаружил себя... Но дар ли это? Может, это какое-то заболевание, что-то вроде приступов перемежающегося бреда, во время которых мой мозг приходит в состояние нездоровой активности в ущерб часам покоя и здравомыслия? Меня охватило головокружительное чувство нереальности окружающего мира. Подобно человеку, желающему пробудиться от кошмарного сна, я судорожно схватился за шнур колокольчика и дважды позвонил. В комнату вошел Пьер с встревоженным выражением лица.

– *Monsieur ne se trouve pas bien?*³ – беспокойно спросил он.

– Я устал ждать, Пьер, – проговорил я так отчетливо и выразительно, как говорит пьяный человек, который из последних сил пытается показаться трезвым. – Боюсь, с отцом что-то случилось; обычно он чрезвычайно пунктуален. Сбегай в «*Hôtel des Bergues*»⁴ и узнай, там ли он.

Пьер тотчас вышел за дверь с успокаивающим «*Bien, monsieur*»⁵, и эта обыденная сцена несколько привела меня в чувство. В поисках дальнейшего успокоения я вошел в смежную с гостиной спальню и открыл шкапулку, где хранился одеколон. Я извлек оттуда бутылку, в высшей степени аккуратно открыл пробку и принялся медленно втирать живительную влагу в ладони, лоб и ноздри, с новой силой постигая тончайшие нюансы аромата именно по ходу этого вдумчивого процесса, а вовсе не вследствие обострения чувств, вызванного приступом странного безумия. Я уже начал постепенно осознавать весь ужас положения, на которое обречены человеческие существа, отличные по природе своей от соплеменников.

Продолжая наслаждаться ароматом, я вернулся в гостиную, но теперь она не была пуста, как несколько минут назад. Перед китайской ширмой стоял мой отец; справа от него находилась миссис Филмор, а слева – стройная молодая блондинка с острым личиком и острым взглядом светло-серых глаз, насмешливым и любопытным.

– Извини, Лэтимер, я немного опоздал, – произнес отец.

Больше я ничего не слышал и не чувствовал до тех пор, пока не осознал, что лежу на диване и Пьер с отцом стоят рядом. Как только я полностью очнулся, отец вышел из спальни и скоро вернулся со словами:

– Я сообщил дамам о твоём самочувствии, Лэтимер. Они ждали в соседней комнате. Сегодняшний поход за покупками придется отложить. – Затем он добавил: – Эта юная леди – Берта Грант, племянница миссис Филмор, круглая сирота. Филмору удочерили ее, и девушка живет с ними, так что по возвращении в Англию она будет твоей соседкой и, возможно,

³ Месье неважно себя чувствует? (*фр.*)

⁴ Отель «Берг» (*фр.*).

⁵ Хорошо, месье (*фр.*).

даже близкой родственницей, поскольку между ней и Альфредом существует нежная привязанность. Я доволен этой партией, ибо Филморы собираются обеспечить Берту во всех отношениях, как родную дочь.

Отец никак не упомянул о моем внезапном обмороке, вызванном видом девушки, – а я ни за что на свете не рассказал бы ему о причинах внезапной дурноты. Меня приводила в ужас одна мысль о том, чтобы признаться кому-нибудь в своей новой способности, столь похожей на достойную жалости болезненную странность, – особенно отцу, который с тех пор всегда сомневался бы в здравости моего ума.

Я не намеревался подробно останавливаться на своих переживаниях. Эти два случая я описал так детально, поскольку они сыграли вполне определенную и важную роль в последующей моей судьбе.

Вскоре после последнего происшествия (кажется, на следующий день) я начал сознавать наступление новой стадии в развитии своей ненормальной чувствительности. Эта новая стадия выражалась в навязчивом воздействии на мой мозг умственных процессов, протекавших в головах людей, с которыми мне случалось общаться. Изменчивые пустые мысли и чувства какой-нибудь малоинтересной дамы, например миссис Филмор, производили на мое сознание впечатление назойливых и фальшивых звуков некоего музыкального инструмента, оказавшегося в неумелых руках, или громкого жужжания пойманного в банку насекомого. Но неприятное состояние повышенной чувствительности накатывало волнами, и мне выпадали минуты покоя, когда души окружающих меня людей снова оставались закрытыми для меня, – и тогда я испытывал облегчение, какое приносит тишина истерзанным нервам. Я мог бы объяснить эту раздражающую проницательность всего лишь игрой нездорового воображения, однако моя способность предвидеть случайные слова и поступки людей определенно доказывала прочную связь моего сознания с умственными процессами окружающих. Но эта дополнительная способность – достаточно утомительная и неприятная в случае общения с безразличными мне особами, занятыми самыми заурядными переживаниями, – стала для меня источником сильной боли и горя, ибо за разумными речами, изящными знаками внимания, остроумными фразами и благородными поступками близких, составляющими обычно ткань человеческого характера, при ближайшем рассмотрении обнаружилось вдруг все легкомыслие, весь подавленный эгоизм и весь темный хаос незрелых низменных чувств, смутных мимолетных воспоминаний и вялых преходящих мыслей, которые скрывались под словами и делами людей, будто навозная куча под покровом опавшей листвы.

В Базеле к нам присоединился мой брат Альфред – красивый самоуверенный молодой человек двадцати шести лет, являвший собой полную противоположность мне – слабому, нервному и никчемному юноше. Полагаю, в то время я отличался своего рода женственной прозрачной красотой, ибо разные художники, которых в Женеве что листьев в лесу, часто просили меня позировать им, и однажды с меня рисовали умирающего менестреля на фантастической картине. Но я был крайне недоволен своей внешностью и мог бы примириться с ней, только посчитав ее обязательным признаком поэтического гения. Однако эта надежда скоро растаяла без следа, и с тех пор я видел в своем лице лишь признаки болезненной, обреченной на пассивное страдание натуры – слишком слабой для гордого противостояния миру, являющегося уделом истинного поэта. Альфред, с которым мы почти всегда жили в разлуке и который при встрече показался мне совершенно чужим человеком, твердо решил держаться со мной по-братски и в высшей степени дружелюбно. Он отличался поверхностной добротой благодушного, довольного собой человека, который не боится соперничества и не знает противоречий. Не уверен, что мне удалось бы окончательно освободиться от чувства зависти к брату, даже если бы наши интересы не столкнулись и если бы состояние моего здоровья не оставляло желать лучшего, исключая для меня всякую возможность искреннего доверия и дружеского объяснения с кем бы то ни было. Вероятно, по природе своей мы с братом были глубоко

чуждыми друг другу людьми. Так или иначе, за несколько недель я успел страстно возненавидеть Альфреда, и, когда он входил в комнату или – тем более – когда начинал говорить, меня всего передергивало, словно от пронзительного металлического скрежета. Его мысли и чувства вторгались в мое больное сознание более часто и настойчиво, нежели мысли и чувства других людей. Меня постоянно раздражали его мелкие тщеславные побуждения, его страсть к покровительству, его самодовольная уверенность в любви Берты и жалостливое презрение ко мне, узнаваемые не по случайным интонациям и фразам или произвольным жестам, которые всегда замечает острый и подозрительный ум, но представавшие моему внутреннему взору во всей своей неприкрытой наготе и во всем многообразии.

Ибо мы с братом были соперниками и наши интересы столкнулись, хотя Альфред и не догадывался об этом. Я еще ничего не сказал о впечатлении, которое произвела на меня Берта Грант при ближайшем знакомстве. Впечатление это определялось в основном тем, что для моего несчастливого дара проникать в суть человеческих характеров девушка представляла собой единственное исключение. Относительно Берты я всегда пребывал в состоянии неуверенности. Я мог наблюдать за выражением ее лица и ломать голову над тем, что оно означает. Я мог с подлинным интересом спрашивать у девушки мнение по тому или иному вопросу, поскольку и в самом деле его не знал. Я мог внимать ее словам и ждать ее улыбки с надеждой и страхом: в Берте мне виделось очарование неразгаданной судьбы. Да, главным образом это обстоятельство и явилось причиной столь сильного впечатления, которое она произвела на меня; ибо, строго говоря, трудно было представить женский характер, более чуждый застенчивому, романтичному и страстному юноше, нежели характер Берты. Она была резкой, саркастичной, лишенной мечтательности и не по возрасту циничной девушкой, которая оставалась критичной и равнодушной при виде самых восхитительных пейзажей и с нескрываемым удовольствием разбирала недостатки моих любимых стихотворений, причем с особым презрением – произведений немецкой лирики, которыми я зачитывался в то время.

До сих пор я не в состоянии точно определить чувство, которое испытывал к Берте: это не было простым мальчишеским восхищением, поскольку во всем вплоть до цвета волос она представляла собой полную противоположность моему идеалу женской красоты. И в ней начисто отсутствовало стремление к добру и справедливости, которое даже в период своего наибольшего подчинения ее воле я продолжал считать самой высокой и благородной чертой человеческого характера. Но не существует на свете тирании более жестокой, нежели тирания эгоцентрической холодной натуры над болезненно-чувствительной душой, ищущей понимания и поддержки. Самые независимые люди охотнее прислушиваются к мнению обычно молчаливого человека и испытывают дополнительный восторг, завоевывая уважение обычно придирчивого и язвительного критика. Поэтому неудивительно, что впечатлительный, нервный и неуверенный в себе юноша замирал в ожидании перед непостижимой тайной саркастичного женского лица, словно перед храмом неизвестного божества, которое правило его судьбой. Юный энтузиаст не в силах представить полное отсутствие в другой душе тех чувств, что волнуют его собственную. Возможно, полагает он, они слабы, пребывают в скрытом, пассивном состоянии, но они существуют, и их можно вызвать к жизни. Иногда в мгновения счастливого самообмана он верит, что чувства эти тем более сильны, что никак не выражаются внешне. Вышеописанный феномен, как я уже упоминал ранее, проявился в случае с Бертой с необычайной силой, ибо девушка оставалась для меня единственным существом, замкнутым в загадочном уединении собственной души. Последнее обстоятельство и сделало возможным подобное юношеское заблуждение. Несомненно, я находился под властью очарования и другого рода: необъяснимого физического влечения, которое идет наперекор нашим психическим установ-

кам и заставляет художника, рисующего сальфид, влюбляться в *bonne et brave femme*⁶, веснушчатую и толстопятую.

Обращение же Берты со мной имело целью ввести меня в еще большее заблуждение, усугубить мою мальчишескую страсть и сделать меня совершенно зависимым от ее улыбок. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего своего несчастного знания, я понимаю, что тщеславие и властность девушки нашли счастливое удовлетворение в уверенности, что при первой нашей встрече я упал в обморок исключительно от сильного впечатления, произведенного на меня ее особой. Самые прозаичные женщины любят воображать себя объектом высокой поэтической страсти. Начисто лишенная романтичности, Берта имела внутреннюю склонность к интриганству и потому находила пикантное удовольствие в мысли, что брат ее будущего мужа до смерти любит и ревнует ее. В то время я не верил в возможность этого брака, ибо хотя Альфред с одобрения отца и усердствовал в своем уходе за мной, но помолвка еще не состоялась и решительного объяснения между молодыми людьми не произошло. И обыкновенно Берта, флиртуя с братом и принимая его знаки внимания самым благосклонным образом, одновременно давала мне понять мимолетными взглядами и случайными фразами (то есть типично женскими приемами, уличить в которых невозможно), что на самом деле Альфред является для нее предметом тайных насмешек, что, подобно мне, она считает его самонадеянным фатом и в конце концов с великим удовольствием его разочарует. Меня девушка открыто ласкала в присутствии брата – словно ввиду моей молодости и болезненности обо мне нельзя было даже подумать как о любовнике. Полагаю, Берта внутренне наслаждалась тем трепетом, в который приводила меня, глядя мои кудри и со смехом внимая произносимым мной цитатам. Подобные ласки девушка расточала мне только в присутствии наших друзей – ибо, когда мы оставались наедине, она держалась куда более церемонно и при случае – то словом, то жестом – старалась поддержать во мне глупую надежду, что на самом деле именно я являюсь ее избранником. А почему бы и нет? Конечно, я занимал не такое блестящее положение в обществе, как брат, но имел состояние и был младше Берты менее чем на год. Она же, богатая наследница, приближалась к возрасту совершеннолетия, дающему право принимать самостоятельные решения.

Постоянное чередование надежды и отчаяния, порожденных подобными мыслями, превращало каждый день, проведенный мною в ее обществе, в блаженную пытку. Один преднамеренный поступок с ее стороны способствовал дальнейшему моему счастливому опьянению. Во время нашего пребывания в Вене Берте исполнилось двадцать лет, и, так как она питала слабость к украшениям, мы воспользовались возможностью посетить великолепные ювелирные магазины в этом немецком Париже, дабы купить девушке на день рождения какие-нибудь драгоценности. Естественно, мой подарок оказался самым дешевым: я купил перстень с опалом. Опал был моим любимым драгоценным камнем, поскольку в зависимости от освещения он краснел и бледнел, словно наделенный живой душой. Об этом я сказал Берте, вручая подарок, и добавил еще, что опал является символом поэтической натуры, изменчивых небес и женских глаз.

Вечером девушка вышла к столу элегантно одетая и украшенная, по всей видимости, всеми полученными в подарок драгоценностями, кроме моего перстня. Я напряженно рассматривал ее пальцы, но опала так и не увидел. В течение вечера мне не представилось возможности укорить Берту, но на следующее утро после завтрака я нашел ее сидевшей в одиночестве у окна и сказал:

– Вы считаете унижительным для себя носить мой бедный опал. Мне следовало помнить о вашем презрительном равнодушии к поэтической сущности вещей и подарить вам коралл, бирюзу или еще какой-нибудь непрозрачный бездушный камень.

⁶ Простоватую деваху-горничную (*фр.*).

– О моем презрительном равнодушии? – откликнулась она и, потянув за тонкую золотую цепочку, которую всегда носила на шее, вынула из-за выреза платья перстень с опалом. – Признаюсь, мне немного жаль прятать его на груди от глаз, – добавила она со своей обычной двусмысленной улыбкой. – И если ваша поэтическая натура так тупа и груба, что предпочитает видеть свой подарок выставленным на всеобщее обозрение, то не буду длить ваши мучения.

Она сняла кольцо с цепочки, все так же улыбаясь, и надела его на палец. Кровь прихлынула к моим щекам, и я не посмел умолять Берту о том, чтобы она продолжала носить подарок на груди, как прежде.

Случившееся повергло меня в совершенное заблуждение, и следующие два дня всякий раз во время отсутствия Берты я запирался в своей комнате, дабы вновь и вновь погружаться в упоительные воспоминания об этой сцене и размышления о сокровенном ее смысле.

Надо заметить, что в течение этих двух месяцев (которые из-за своей насыщенности неведомыми дотоле восторгами и страстями показались мне целой вечностью) причастность моего сознания к внутренней жизни других людей продолжала мучить меня. То это был мой отец, то брат, то миссис Филмор или ее муж, а то наш проводник-немец: поток чужих мыслей регулярно накатывал на мой мозг и производил впечатление навязчивого звона в ушах, от которого невозможно избавиться никакими силами. Однако это не мешало ровному течению и развитию моих собственных мыслей и чувств. Описанные ощущения напоминали ощущения человека со сверхъестественно обостренным слухом, который слышит оглушительную какофонию самых разных звуков там, где другим внятна лишь мертвая тишина. От усталости и отвращения, вызванных невольным вторжением в души окружающих, меня спасало лишь общение с непостижимой и загадочной Бертой и моя все возрастающая страсть к ней – страсть, в большой степени возбужденная неведением. Девушка оставалась для меня единственным оазисом тайны в ужасной пустыне знания. Внешне я никогда не обнаруживал свое болезненное состояние и не выдавал себя ни единым необычным словом или поступком, за исключением одного раза. Тогда в приступе особенно сильной злости на брата я предугадал слова, которые он намеревался произнести, – некое заранее подготовленное замечание. Временами Альфред говорил с несколько неестественными заминками и паузами, и, когда он на мгновение смолк, будто ища нужное слово, я, движимый раздражением и ревностью, закончил за него фразу, как если бы эту тираду мы оба загодя выучили наизусть. Брат вспыхнул и показался столь же потрясенным, сколь раздосадованным. Не успели последние слова слететь с моих губ, как я вдруг страшно испугался, что таким образом угаданная фраза (не настолько простая, чтобы ее можно было с легкостью предвидеть) выдаст мою необычную способность, и тогда все – и Берта в особенности – будут брезгливо сторониться меня как существа странного, похожего на тихо помешанного. Но я, как обычно, преувеличил впечатление, производимое на других моими словами и поступками; казалось, моему неожиданному вмешательству в разговор придали не больше значения, чем простой грубости, вполне простительной для человека со слабыми, расстроенными нервами.

В то время как обостренная восприимчивость к происходившему вокруг практически не оставляла меня, способность ясного предвидения, обнаруженная перед первой моей встречей с Бертой, больше никак не проявлялась. И я со страстным нетерпением ждал возможности узнать, было ли видение Праги тоже прозрением или нет. Через несколько дней после случая с перстнем мы предприняли один из наших частых походов в Лихтенбергский дворец. Я никогда не мог рассматривать много полотен подряд, ибо картины, отмеченные печатью таланта, производили на меня такое сильное впечатление, что после одной-двух я уже терял всякую способность к созерцанию. В то утро я рассматривал портрет кисти Джорджоне, представляющий женщину с жестокими глазами, по некоторым версиям Лукрецию Борджа. Я долго стоял один перед полотном, зачарованный страшной живостью коварного безжалостного лица, пока мной не завладело странное головокружительное ощущение, словно я долго вдыхал какой-то губи-

тельный аромат и наконец начал чувствовать его действие. Возможно, даже тогда я не отошел бы от картины, если бы мои спутники не вернулись в этот зал и не объявили о своем намерении отправиться в Бельведерскую галерею, дабы решить спор, возникший между мистером Филмором и моим братом по поводу какого-то портрета. Я последовал за ними как во сне и стал постепенно возвращаться к действительности, только когда они поднялись в зал, оставив меня внизу, ибо я категорически отказался смотреть в этот день на какие-либо картины. Я направился к Большой террасе, поскольку мы договорились погулять по парку после разрешения спора. Некоторое время я сидел там, рассеянно глядя на подстриженные деревья, и зеленые холмы, и город вдаль, а затем поднялся с места и спустился по широким каменным ступеням, намереваясь отойти подальше от часового и подождать своих спутников где-нибудь в глубине парка. Едва я вышел на посыпанную гравием аллею, как ощутил легкое прикосновение чьей-то нежной руки к своей. В тот же миг наступило странное болезненное забытие, похожее на продолжение или, скорее, пароксизм того чувства, которое внушил мне взгляд Лукреции Борджа. Сады, летнее солнце, ощущение руки Берты в моей руке – все внезапно исчезло, и тьма окутала мое сознание. Потом в этой тьме я постепенно различил неяркий огонь камина и обнаружил, что нахожусь дома, в библиотеке, в отцовском кожаном кресле. Я прекрасно знал этот камин: железные подставки для дров, черный мраморный дымоход, украшенный белым медальоном с изображением умирающей Клеопатры. Отчаянная горькая безысходность владения моей душой. Свет стал ярче, ибо в комнату вошла Берта со свечой в руке. Берта, моя жена, с жестоким взглядом серых глаз, в белом бальном платье, украшенном драгоценными камнями и зелеными листьями. И все ее полные ненависти мысли открылись мне... «Сумасшедший, идиот! Ну почему ты не убьешь себя?» Это был ужасный момент. Я заглянул в эту безжалостную душу – мертвое пространство, выжженное ненавистью, – и почувствовал, как сгущается вокруг атмосфера зла. Со свечой в руке Берта приблизилась и встала надо мной со злобной, презрительной усмешкой. Изумрудная брошка сверкала на ее груди – усыпанная камнями змейка с алмазными глазами. Я содрогнулся. Я презирал эту женщину с мертвой душой и низкими помыслами, но чувствовал себя совершенно беспомощным перед ней, словно она сжала жестокими пальцами мое кровоточащее сердце и не собиралась выпускать его, пока в нем остается хоть капля живой крови. Она была моей женой, и мы ненавидели друг друга. Постепенно горевший камин, полутемная библиотека и пламя свечи исчезли, растворились в потоках яркого света – лишь зеленая изумрудная змейка с алмазными глазами еще некоторое время плавала темным силуэтом перед моим взором. Веки мои затрепетали, и ослепительный свет дня ударил в глаза. Я сидел на ступеньках Бельведерской террасы, и вокруг меня стояли мои друзья.

Сильное душевное расстройство, вызванное кошмарным видением, на несколько дней приковало меня к постели и задержало наш отъезд из Вены. Я содрогался от ужаса при воспоминании об этой сцене – а она постоянно приходила мне на ум во всех своих самых мелких деталях, которые намертво врезались в мое сознание. И все же – так безумно человеческое сердце во власти сиюминутных страстей! – я испытывал дикую радость при мысли, что Берта будет моей. Ибо моя способность предвидения, уже получившая подтверждение во время первой встречи с Бертой, не позволяла мне считать последнее страшное видение будущего просто игрой расстроенного воображения, не имевшей никакой связи с реальной жизнью. Только одно могло поколебать мою ужасную уверенность – доказательство того, что мое видение Праги не имеет никакого отношения к действительности. А Прага была следующим городом на нашем пути.

Тем временем, едва вернувшись в общество Берты, я полностью оказался во власти ее обаяния. Что с того, что мне открылась душа Берты – зрелой женщины, моей супруги? *Девушка* Берта по-прежнему оставалась для меня пленительной загадкой. Я трепетал от ее прикосновений, находился в плену ее чар и страстно желал убедиться в ее любви. Боязнь отравиться не

может остановить измученного жадой человека. Однако я продолжал испытывать ревность к своему брату и страшно досадовал на его пренебрежительно-покровительственное отношение ко мне. Ибо моя гордость и нездоровая впечатлительность оставались прежними и отзывались на каждую обиду так болезненно и неизбежно, как реагирует глаз на попавшую в него соринку. Будущее, даже открывшееся сознанию через столь жуткое видение, все равно представлялось мне некой отвлеченной идеей, несравнимой по силе воздействия на мой ум с владевшими мной тогда чувствами – любовью к Берте и ненавистью и ревностью к брату.

Эта история стара как мир: человек продает душу дьяволу и пишет расписку кровью только потому, что час расплаты очень далек, а потом с такой же мучительной страстью стремится жаждущей душой к светлому источнику, ибо черная тень неотступно следует за ним. Не существует на свете проторенного пути, некой кратчайшей дороги к мудрости. После многих веков цивилизации путь человеческой души пролегает через тернистые пустоши, которые, как и в глубокой древности, нужно проходить в одиночестве, сбивая в кровь ноги и с плачем взывая о помощи.

Я напряженно размышлял о том, каким образом удастся мне стать счастливым соперником брата, ибо в своей неосведомленности о подлинных чувствах Берты я по-прежнему робел и не осмеливался предпринять никаких шагов к тому, чтобы добиться ее признания в любви. Я надеялся обрести уверенность для решительных действий после того, как подтвердится достоверность моего видения Праги. И все же как боялся я получить это подтверждение! Рядом со стройной девушкой Бертой, чьи слова и взгляды я жадно ловил, в чьих прикосновениях находил высшее блаженство, мне постоянно виделась другая Берта, с более пышными формами, более тяжелым взглядом и более жестким ртом, – женщина с открытой моему взгляду пустынной эгоистичной душой; уже не пленительная тайна, но очевидный факт, помимо моей воли постоянно пребывавший в моем уме. Неужели вы, читающие эти строки, не проникнетесь состраданием ко мне? Можете ли вы представить себе эту работу раздвоенного сознания, при которой совершенно противоположные мысли текут параллельно друг другу и никогда не сливаются в единый поток? Вы, должно быть, имеете представление о характере предчувствия, порожденного интуицией в мгновения отчаянной борьбы со страстью. А все мои видения были лишь усиленными до последнего страшного предела предчувствиями. Вам наверняка знакомо бессилие рассудка перед душевным порывом. А мои видения, уходя в прошлое, превращались просто в отвлеченные понятия – в некие бледные тени, которые тщетно зывали ко мне, пока живое и любимое существо держало меня за руку.

Впоследствии я горько сожалел о том, что не предвидел другого – или большего. Ведь если бы вместо кошмарного видения, отравившего – если не уничтожившего – мою страсть, мне открылся бы тот момент будущего, когда я в последний раз глядел в лицо брата, то мое отношение к Альфреду несколько смягчилось бы: уязвленная гордость и ненависть превратились бы в жалость, способную простить многие скрытые пороки. Но это – одна из тех запоздалых мыслей, которыми привыкли обольщаться люди. Мы стараемся убедить себя, что наш эгоизм случаен и легко проходит, что только наша неосведомленность не позволяла нам в полной мере проявить великодушие, милосердие и добродетельность и скрыть таким образом холодное равнодушие к чувствам и мыслям близких людей. Наша отзывчивость и способность к самоотречению возрастают в наших собственных глазах, когда эгоистичные поступки остаются далеко в прошлом – когда после жалкой борьбы, которая должна закончиться для соперника тяжелой потерей, судьба дарует нам победу и мы внезапно содрогаемся, поскольку ее протягивает нам холодная рука смерти.

Мы прибыли в Прагу ночью, и это обстоятельство обрадовало меня, ибо возможность несколько часов находиться в городе, не видя его, была равносильна возможности отсрочить страшный решающий момент. Мы намеревались остановиться в Праге совсем ненадолго и вскоре отправиться в Дрезден и поэтому планировали на следующее утро бегло осмотреть

город и особо интересные достопримечательности, прежде чем жара станет невыносимой: дело было в августе, и лето стояло сухое и жаркое.

Но случилось так, что леди задержались за утранным туалетом, и, к вежливо-сдержанному, но заметному раздражению моего отца, мы разместились в коляске, когда солнце было уже довольно высоко. По въезде в еврейский квартал, где мы собирались посетить старую синагогу, я с чувством облегчения подумал, что мы устанем и перегреемся на солнце раньше, чем закончим осмотр этой плоской, тесно застроенной части города, и вернемся домой, не успев изучить ничего, кроме уже виденных сегодня улиц. Это даст мне еще один день неопределенности – единственного состояния, в котором испуганная душа может утешиться надеждой. Но когда я стоял под почерневшими крестовыми сводами старой синагоги, слабо освещенной семью тонкими свечами священной лампады, и внимал голосу нашего проводника-еврея, читавшего на древнем языке Книгу Закона, меня вдруг привела в трепет мысль, что это странное сумрачное здание, этот чудом уцелевший обломок средневекового иудаизма по своему духу вполне отвечает моему видению. Те потемневшие и запыленные христианские святыне, стоявшие под более высокими сводами и при свете более толстых свечей, должны были утешаться тем, что могут с презрительной усмешкой указать на смерть-в-жизни, еще более иссушенную и источенную временем, чем их собственная.

Как я и ожидал, после осмотра синагоги старшие выразили желание вернуться в отель. Но теперь вместо того, чтобы с радостью присоединиться к ним, я вдруг почувствовал страстное желание немедленно отправиться на мост и положить конец состоянию неопределенности, которое совсем недавно мне хотелось продлить. С необычной для меня решительностью я объявил о своем намерении выйти из коляски и пойти пешком. Спутники могут вернуться без меня. Мой отец посчитал подобный каприз очередным романтическим вздором и строго заметил, что я только перегреюсь, гуляя по такой жаре. Но, увидев мою настойчивость, он сердито сказал, что я волен идти куда глаза глядят, но только в компании Шмидта (нашего проводника). Я согласился и вместе с ним направился к мосту. Едва выйдя из-под арки огромных старинных ворот, я задрожал всем телом и похолодел под лучами палящего солнца. Но продолжал идти вперед. Я искал одну деталь – маленькую деталь видения, которую помнил особенно отчетливо, – и наконец увидел ее: радужный блеск на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды.

2

Задолго до конца осени, когда вязы в нашем парке еще стояли под густым покровом коричневой листвы, мой брат обручился с Бертой, и стало ясно, что свадьба состоится ранней весной. С того незабываемого момента на мосту в Праге я чувствовал уверенность, что однажды Берта станет моей женой, но мучительно цепенел от прирожденной застенчивости и робости, и все заранее придуманные слова признания замирали у меня на губах. Прежнее противоречивое чувство владело мной: страстное желание получить из уст Берты подтверждение любви и страх услышать презрительные слова отказа, подобные разъедающей душу кислоте. Что значила для меня неизбежность отдаленного будущего? Я трепетал под сегодняшними взглядами возлюбленной, искал сегодняшней радости и холодел от сегодняшнего страха. Так текли дни. Я присутствовал на помолвке Берты и слушал разговоры о предстоявшей свадьбе, воспринимая все это как кошмарный сон; я знал, что он кончится, но не мог вырваться из его душного плена.

В отсутствие Берты – а она проводила со мной очень много времени, как и прежде осуществляя свою шутиливую опеку, которая не вызывала никакой ревности брата, – я целыми днями гулял, катался верхом до самого захода солнца, а вечерами закрывался в своей комнате, полной непрочитанных книг. Книги перестали интересовать меня. Застенчивость моя

развилась до той степени, когда наша внутренняя жизнь превращается в драму и настойчиво занимает все наше воображение и мы начинаем рыдать не столько от действительных душевных мук, сколько от одной лишь мысли о них. Мой печальный жребий вызывал у меня острое чувство жалости к себе: печальный жребий существа, от природы в высшей степени предрасположенного к страданию и лишенного тех фибров души, которые способны реагировать на радость. Для подобных людей мысль о будущем несчастье отравляет всю радость настоящего момента, и мысль о будущем счастье не в силах прогнать тоску и страх, испытываемые сейчас. В молчании проходил я через эту стадию страданий, на которой истинный поэт испытывает восхитительные муки творчества и превращает свои печали в возвышенные образы.

Окружающие совершенно оставили меня в покое, не протестуя против моего мечтательного и бесцельного существования. Я знал мнение отца о себе: этот парень никогда ни в чем не преуспеет в жизни. Пусть живет себе потихоньку на доходы с причитающегося ему капитала. Не стоит беспокоиться о его карьере.

Однажды погожим утром в начале сентября я стоял у галереи дома, лениво поглаживая Цезаря, старого полуслепého ньюфаундленда, единственную собаку, которая когда-либо питала ко мне привязанность, – ибо даже собаки избегали меня и ласкались к более счастливым людям. В это время грум подвел к дому коня, на котором брат собирался ехать на охоту, и сам Альфред появился в дверях – румяный, широкоплечий и самодовольный; упоенный собственным великодушием, не позволявшим ему относиться свысока к окружающим, несмотря на его несомненное превосходство над всеми.

– Лэтимер, дружище! – сказал он сочувственным и сердечным тоном. – Как жаль, что ты изредка не охотишься с собаками. Охота – лучшее в мире средство от плохого настроения!

«Плохое настроение, – ожесточенно подумал я, глядя вслед отъезжавшему брату. – Этими словами грубые и ограниченные люди вроде тебя определяют состояние души, о котором ты можешь знать не больше, чем твоя лошадь. Именно таким, как ты, достаются все блага этого мира: неприкрытая тупость и жизнерадостный эгоизм, благодушное тщеславие – вот подлинные ключи к счастью».

Тут у меня мелькнула мысль, что мой эгоизм даже глубже, – только это эгоизм страдальца, а не довольного собой человека. Но затем моему раздраженному сознанию вновь представилась самоуспокоенная душа Альфреда, свободная от всех сомнений и страхов, неудовлетворенных страстей и утонченных мук чувствительности, которые составляли самую суть моей жизни, – и я вновь потерял способность понимать брата. Этот человек не нуждался ни в жалости, ни в любви. Подобные тонкие чувства остались бы для него незаметными, словно нежные прикосновения легкого белого тумана для холодной скалы. Ему будущее не сулило никаких несчастий: если он и не женится на Берте, то только потому, что найдет более выгодную партию.

Особняк Филморов находился в полумиле от наших ворот, и всякий раз, когда брат уезжал в каком-нибудь другом направлении, я шел туда в надежде застать Берту дома. Позже днем я отправился туда. Вопреки обыкновению, девушка оказалась дома одна, и мы вместе направились в сад (как правило, она предпочитала прохаживаться по аккуратно посыпанным гравием аллеям). Помню, Берта казалась мне тогда прекрасной сильфидой: низкое ноябрьское солнце золотило ее белокурые волосы, и она легко и быстро шагала рядом, как всегда поддразнивая меня добродушной болтовней, которой я внимал обычно с любовью и грустью, – ведь только таким образом проявлялась таинственная сущность ее души. Возможно, в тот день чувство грусти преобладало во мне, ибо я еще не вполне пришел в себя после приступа ревности и ненависти, вызванного покровительственным обращением брата со мной. Внезапно я прервал девушку и ошеломил, спросив почти яростно:

– Берта, как вы можете любить Альфреда?

Несколько мгновений она удивленно смотрела на меня, потом вновь беззаботно улыбнулась и насмешливо ответила:

– С чего вы взяли, что я его люблю?

– Как вы можете задавать такие вопросы, Берта?

– Что? Неужели наш многомудрый полагает, что я должна любить человека, за которого собираюсь выйти замуж? Но ведь это самая ужасная вещь на свете. Я буду постоянно ссориться с ним, ревновать его. В нашем доме воцарится атмосфера грубости и неучтивости. Легкое тихое презрение весьма способствует утонченности отношений.

– Берта, вы не можете так думать на самом деле! Что за удовольствие пытаться обмануть меня, измышляя такие циничные ответы?

– Мне никогда не приходится ничего измышлять, мой маленький Тассо. (Так она в шутку называла меня.) Самый простой способ обмануть поэта – это сказать ему правду!

Она довольно смело испытывала на мне силу своих афоризмов – и на мгновение тень ужасного видения, видения Берты с открытой моему внутреннему взору душой, промелькнула между мной и светлой девушкой, шаловливой сильфидой, чьи чувства оставались для меня чарующей загадкой. Вероятно, я содрогнулся или еще как-нибудь обнаружил мгновенно охвативший меня ужас.

– Тассо! – Берта схватила меня за руку и заглянула в мои глаза. – Неужели вы действительно считаете меня такой бессердечной? Что ж, вы и вполтину не тот поэт, каким я вас представляла. Я думала, вы и в самом деле знаете правду обо мне.

Тень сомнения, промелькнувшая между нами, растаяла и больше не возвращалась. Девушка, которая держала меня за руку тонкими пальцами и обращала ко мне прелестное личико феи, похоже, наконец-то выдала то, что так долго скрывала, – что она равнодушна ко мне. Это живое теплое создание опять завладело моими мыслями и чувствами: так ласкает слух вновь услышанное пение сирен, которое было на миг заглушено ревом грозных волн. Я забыл обо всем на свете, кроме своей страсти, и спросил, еле сдерживая подступившие к глазам слезы:

– Берта, будете ли вы любить меня, когда мы поженимся? Я не возражаю, если вы будете любить меня только очень короткое время!

С выражением крайнего изумления на лице девушка мгновенно выдернула свою руку из моей и отпрянула в сторону – и я осознал свою странную, преступную неосторожность.

– Извините меня, – поспешно проговорил я, едва обрел дар речи. – Я не знаю, что такое болтаю.

– Ах, вижу, приступ безумия у Тассо миновал, – спокойно произнесла девушка, которая опомнилась быстрее меня. – Ему надо идти домой и успокоиться как следует. И мне пора возвращаться, солнце уже садится.

Я отправился домой, кляня себя на чем свет. С моего языка сорвались слова, которые могли вызвать у Берты (если бы она задумалась над ними) сомнение в том, что я нахожусь в здравом уме, – сомнение, страшившее меня больше всего на свете. Кроме того, я стыдился собственной низости, вынудившей меня сказать эти слова невесте брата. Я медленно брел домой и вошел в парк не через главные ворота, а через калитку. Приблизившись к дому, я увидел, как из конюшни выбежал человек и сломя голову бросился через парк. Неужели что-то случилось дома? Нет, вероятно, подобная спешка вызвана каким-нибудь очередным категорическим приказом отца.

Тем не менее я безотчетно ускорил шаги и скоро оказался дома. Не буду подробно останавливаться на сцене, которую я застал там. Мой брат был мертв: он упал с лошади и скончался на месте от кровоизлияния в мозг.

Я поднялся в комнату, где лежал покойный и сидел окаменевший от горя отец. Со времени нашего возвращения домой я больше, чем когда-либо, избегал отца, ибо полная противоположность наших характеров делала мое проникновение в его внутренний мир источником постоянной печали для меня. Но сейчас, в скорбном молчании став подле него, я почувство-

вал, что некие новые узы соединили наши души. Мой отец был одним из самых удачливых представителей делового мира: он не знал ни сентиментальных страданий, ни болезней. Самым тяжелым горем для него была смерть первой жены. Однако вскоре он женился на моей матери и через неделю после ее смерти предстал моему наблюдательному детскому взгляду точно таким, как прежде. Но теперь глубокая скорбь объяла его душу – скорбь старости, которая тем тяжелее переживает крушение надежд, чем ограниченнее и суетнее они были. Сын его собирался скоро жениться – возможно, рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Существование сына самым лучшим образом оправдывало необходимость ежегодной покупки все новых земель для расширения границ поместья. Ужасно жить на свете, из года в год делая одно и то же и не понимая цели своего существования. Возможно, трагедия разочарованной юности меньше достойна сострадания, нежели трагедия разочарованной старости и погруженности в бранные земные заботы.

И, увидев всю опустошенность родительского сердца, я испытал глубокую жалость, которая стала началом моей новой любви к отцу, – и любовь эта росла и усиливалась с течением времени, несмотря на его странную неприязнь ко мне, особенно заметную в первые месяц-два со смерти брата. Когда бы мою душу не смягчило сострадание – первое в моей жизни глубокое сострадание к близкому, – я страшно мучился бы от сознания, что отец передал мне состояние Альфреда с горьким смирением человека, обреченного судьбой на необходимость заботиться обо мне как о существе важном и значительном. Против своей воли он начал рассматривать меня как объект внимания и опеки. Любой заброшенный ребенок, занявший освобожденное смертью привилегированное место, поймет меня.

Однако постепенно мои новые почтительность и послушание (следствие порожденной жалостью терпимости) завоевали любовь отца, и он начал прилагать все силы к тому, чтобы я занял место брата – в той степени, в какой это было возможно для моей более слабой натуры. С течением времени отец стал рассматривать перспективу моей женитьбы на Берте как желанную и даже обдумывал возможность совместного проживания со мной и невесткой, тогда как в отношении старшего сына у него такого намерения не было. Это теплое чувство к отцу сделало тот период моей жизни самым счастливым со времени глубокого детства – те последние месяцы, когда я сохранял еще восхитительную иллюзию своей любви к Берте и жил тоской, сомнениями и надеждой на ее взаимность. После смерти Альфреда в отношении девушки ко мне появились новые напряженность и отчужденность. Я тоже вел себя скованно – отчасти из уважения к памяти брата, отчасти оттого, что не знал, какое впечатление осталось у Берты от моих неожиданных слов. Но дополнительная незримая преграда, воздвигнутая между нами взаимной сдержанностью, служила лишь дальнейшему усилению моей зависимости от Берты: не важно, сколь пусто святилище в храме, когда столь густа завеса, скрывающая его от взора. Некая тайна и неопределенность столь необходимы нашей душе для сохранения надежд, сомнений и страстных порывов, составляющих смысл ее существования, что, даже если завтра будущее целиком откроется нашим глазам, интересы всего человечества сосредоточатся на оставшихся в его распоряжении часах неизвестности. Мы будем трепетно наслаждаться неопределенностью единственного нашего утра и единственного вечера. Мы будем отчаянно хвататься за последнюю возможность раздумий, неожиданных радостей и разочарований и страстно внимать предсказаниям политиков в течение последних двадцати четырех часов, предшествующих всеведению. Представьте состояние человеческого ума, постигшего все тайны будущего, кроме одной, которая должна раскрыться на закате летнего дня, но до той поры может существовать в виде гипотезы, предположения, предмета спора. Искусство, философия, литература и наука слетятся как пчелы на эту тайну, дабы вкусить нектара неизвестности с тем большим упоением, что их радость должна окончиться с заходом солнца. Порывы и движения нашей души приспособлены к идее будущей ненужности не больше, чем биение нашего сердца или сокращения наших мускулов.

Берта, стройная белокурая девушка, чьи мысли и эмоции оставались для меня единственной загадкой среди открытых моему внутреннему взору душ других людей, так же пленяла меня, как последний день неведения, как единственная гипотеза, которая останется неподтвержденной до захода солнца. И мои надежда и безнадежность, вера и безверие бурлили и кипели на ограниченном пространстве неизвестности.

А Берта заставила меня поверить в свою любовь ко мне. Не оставляя *badinage*⁷ и шутиливо-властных манер, девушка исподволь внушила мне пьянящую мысль, что она нуждается во мне и чувствует себя свободно только рядом со мной, покорным ее игривой тирании. Женщинам требуется так мало усилий, чтобы одурачить нас подобным образом! Случайно слетевшее с уст слово, неожиданная пауза, даже вспышка легкого раздражения будут долго еще одурманивать мужчин наподобие гашиша. Из тончайшей паутинки неуловимых знаков и жестов Берта заставила меня сплести фантазию о том, что в глубине души всегда предпочитала меня Альфреду, но из-за свойственных юной девушке неопытности и чувствительности поддалась обманчивому очарованию, которое таила в себе роль избранницы человека, занимавшего столь блестящее положение в обществе, каким обладал мой брат. Она очень тонко высмеивала себя за тщеславие и суетность. Что значило мое ужасное прозрение по сравнению с тем фактом, что я заполучил почти все привилегии брата в сфере личной жизни? Наши сладчайшие иллюзии наполовину сознательны: так завораживает нас некий цветовой эффект, созданный (как нам прекрасно известно!) блестящей мишурой, битым стеклом и пестрым дрянным тряпьем.

Мы поженились через восемнадцать месяцев после смерти Альфреда, холодным и ясным апрельским утром, когда при ярком свете солнца просыпался короткий град. И Берта в белом вышитом платье с бледно-зелеными листьями, светловолосая и бледнолицая, казалась духом утра. Отец после смерти Альфреда еще ни разу не выглядел таким счастливым: он был уверен, что женитьба завершит изменение моего характера к лучшему и сделает меня вполне практичным и трезвым человеком, способным занять достойное место в обществе здравомыслящих людей. Ибо отец восхищался деликатностью и проницательностью Берты и полагал, что она будет руководить мной и сумеет наставить на путь истинный: ведь мне был всего двадцать один год, и я страстно любил девушку. Бедный отец! Он жил этой надеждой чуть больше года после нашей свадьбы и еще не вполне отказался от нее, когда неожиданный удар спас старика от полного разочарования.

Заключительную часть истории я изложу в общих чертах, не останавливаясь на своих внутренних переживаниях. Хорошо знающие друг друга люди предпочитают разговаривать о событиях, происходящих на внешнем плане бытия, и не распространяются о сокровенных мыслях и чувствах, о которых собеседник может догадаться и сам.

Некоторое время после возвращения домой мы жили, делая бесконечные визиты, давая великолепные обеды и производя в округе сенсацию новым великолепием нашего выезда, ибо отец приберег сие свидетельство своего возросшего благосостояния до свадьбы сына; и мы давали нашим знакомым прекрасный повод вздохнуть за нашими спинами о том, что я выгляжу так жалко в роли новобрачного и богатого наследника. Нервная усталость от подобного образа жизни, неискренность и пошлость окружающих, которые мне приходилось переживать дважды – внешними и внутренними чувствами, свели бы меня с ума, когда бы не некое счастливое оцепенение, рожденное восторгами первой страсти. Ни в чем не знающие отказа богатые новобрачные кружатся изо дня в день в вихре светских развлечений и, в редкие минуты уединения даря друг другу торопливые ласки, готовятся к будущему совместному существованию, как послушник готовится к поступлению в монастырь, – то есть познавая совершенно противоположную сторону жизни.

⁷ Насмешливого тона (*фр.*).

В течение всех этих шумных и беспокойных месяцев внутренний мир Берты оставался закрытым для меня, и я, как и раньше, постигал мысли своей молодой жены лишь через фразы и жесты. Я по-прежнему с интересом и волнением ожидал ее реакции на свои речи и поступки, страстно желал услышать нежное слово из уст любимой и восторженно преувеличивал значение ее улыбок. Но я осознавал постепенно возрастающую отчужденность Берты: иногда она была настолько сильной, что переходила в надменную холодность и вгоняла меня в озноб не хуже града, который просыпался солнечным утром в день нашей свадьбы; иногда же лишь угасала за ловкими стараниями жены увильнуть от прогулки или обеда. Это причиняло мне сильную боль – и сердце тоскливо сжималось при мысли, что дни моего счастья близятся к концу. Но я по-прежнему оставался под властью Берты, страстно ловил последние лучи блаженства, которые скоро должны были погаснуть навеки, и надеялся узреть прощальное пламя заката, еще более прекрасное в сгущавшейся тьме.

Я помню – как мне не помнить! – время, когда с чувством зависимости и все надежды покинули меня; когда печаль, вызванная во мне неустанно возрастающим отчуждением Берты, превратилась в радость от сознания того, что я тосковал по прошлому, как человек тоскует по последнему приступу боли в ныне парализованных членах. Это произошло вскоре после окончания болезни отца, которая неизбежно отвлекла нас от светской жизни и вынудила к более тесному общению друг с другом, в день его кончины. В тот вечер густая завеса, скрывавшая от меня душу Берты и превращавшая ее в единственную среди всех знакомых людей тайну, в счастливую возможность сомнения и ожидания, наконец упала. Возможно, именно в тот день впервые за все время знакомства с Бертой моя страсть к ней была уничтожена всепоглощающим чувством совершенно иного рода. Я находился у смертного одра отца, видел последний угасающий взгляд его души, с тоской устремленный на растраченное богатство жизни, наблюдал в его глазах последнее слабое сознание любви, внушенное ему нежным пожатием моей руки. Что наши личные страсти перед лицом предсмертной агонии? В присутствии смерти все наши чувства к живым растворяются и отступают, поглощенные осознанием общей человеческой природы и общего предназначения.

В таком настроении я вошел в гостиную Берты. Жена сидела, откинувшись на подушки дивана, спиной к двери; огромные пышные кольца волос поднимались над ее тонкой шеей. Помню, закрыв за собой дверь, я вдруг задрожал, словно в ознобе, и смутное сознание собственного одиночества и несчастья внезапно пришло ко мне – смутное и сильное, как предчувствие. Я знаю, как выглядел в тот момент, ибо увидел себя в мыслях Берты, когда она подняла на меня ледяные серые глаза: перед ней был жалкий обитатель призрачного мира, видящий сны среди бела дня, дрожащий от легкого ветерка, когда даже листья на деревьях остаются совершенно неподвижными; не знающий радости простых человеческих желаний, но тоскующий по обителю лунного света. Мы стояли лицом к лицу и пристально смотрели друг на друга. Миг ужасного прозрения настал для меня – и я увидел, что завеса тьмы скрывала от моих глаз не прекрасный пейзаж, а всего лишь прозаичную голую стену. С этого вечера в течение всех последующих отвратительных лет я видел до мельчайших подробностей крохотное странство этой души – видел мелкие хитрости и простое отрицание там, где прежде с восторгом предполагал застенчивую впечатлительность и живое остроумие, противостоящее глубоко скрытым чувствам; видел, как легкое невинное тщеславие юной девушки превращается в расчетливое кокетство и эгоизм зрелой интриганки; видел, как отвращение и неприязнь сгущаются в жестокую ненависть, которая находит выход только в стремлении причинить мне боль.

Ибо Берта тоже по-своему чувствовала горечь разочарования. Она рассчитывала, что моя безумная страсть к ней превратит меня в безропотного раба, покорного всем ее желаниям. В силу ограниченности ума, свойственной поверхностным, лишенным воображения людям, она не могла понять разницы между чувствительностью и слабостью. Берта намеревалась полностью подчинить меня своей воле, но встретила решительное сопротивление. Теперь мы поме-

нялись ролями. До свадьбы девушка безраздельно владела моим воображением, поскольку я видел в ней загадку и трепетал перед ее таинственным внутренним миром, который сам же и сотворил в своих фантазиях. Но теперь, когда душа Берты открылась моему взору и мне стали очевидны все скрытые побуждения, все мелкие соображения, предварявшие ее слова и мысли, она оказалась совершенно бессильной против меня и способной вызывать во мне лишь холодную дрожь отвращения. Бессильной – ибо в ее распоряжении больше не было никаких средств воздействия на мою душу. Я был совершенно чужд честолюбивых стремлений суетного света и жил по законам совершенно непостижимого для жены мира.

Для нее было истинным несчастьем иметь такого мужа – и так считал весь свет. Изящная и ослепительная Берта, которая лучезарно улыбалась утренним визитерам, блистала на балах и отличалась поверхностным остроумием, обычно принимаемым за остроумие, безусловно, вызывала всеобщее сочувствие рядом с болезненным, рассеянным и – как многие подозревали – психически не вполне нормальным мужем. Даже слуги в нашем доме относились к ней уважительно и вместе с тем сострадательно, ибо между нами не происходило никаких явных ссор, наши отчуждение и отвращение друг к другу таились в тишине наших сердец, – и, если хозяйка часто выезжает в свет и избегает общества хозяина, разве нельзя понять ее, бедняжку? Ведь хозяин такой странный! Я был добр и справедлив по отношению к слугам, но возбуждал в них застенчивую, презрительную жалость – ведь мужчины и женщины этого круга редко руководствуются в оценке других людей общими рассуждениями или даже конкретными наблюдениями за поведением и характером. Они судят о людях как о монетах и ценят тех, кто идет в обществе по самому высокому курсу. Некоторое время спустя я уже почти не вмешивался в жизнь Берты, и может показаться удивительным, что ее ненависть ко мне продолжала расти так стремительно и неудержимо. Но жена моя стала догадываться (по неким случайным моим словам и жестам), что я обладаю сверхъестественной проницательностью и, по крайней мере временами, самым чудесным образом угадываю ее скрытые мысли и побуждения. Она начала испытывать ужас передо мной, часто выливавшийся в открытое неповиновение. Теперь Берта постоянно размышляла о том, как бы ей изгнать злого демона из своей жизни, как бы освободиться от ненавистных уз, соединявших ее с существом, которое она одновременно презирала как слабоумного и боялась как инквизитора. Долгое время она жила надеждой на то, что моя очевидная несчастливость доведет меня до самоубийства, но самоубийство было не в моей природе. Я слишком остро сознавал над собой власть неких неизвестных сил, чтобы верить в возможность освобождения по собственной воле. Моя судьба перестала интересовать меня: единственная моя пылкая страсть иссякла, и чувства более не властвовали над моим рассудком. Поэтому я никогда не обдумывал перспективу раздельного проживания с женой, которое сделало бы очевидной для света нашу отчужденность. К чему мне было искать спасения в ином образе жизни, когда я страдал всего лишь от последствий собственных сознательных действий? Так поступил бы человек, ищущий радости в жизни, а у меня не было никаких желаний. Но мы с Бертой все больше отдалялись друг от друга. Для богатых супругов не составляет труда жить в браке и одновременно порознь.

Такая жизнь – описанная выше буквально в нескольких фразах – длилась годы. Сколько горя, сколько неуклонно и страшно возрастающей ненависти и порока можно вместить в одно предложение! И именно так упрощенно судит человек о жизни другого. Он обобщает переживания близкого и объявляет суждение о нем грамматически безукоризненно построенной фразой – ощущая себя при этом мудрым и добродетельным, победителем соблазнов, обозначенных тщательно подобранными подлежащими. Семь лет горя легко слетают с уст человека, который никогда не вычеркивал их из своей жизни в мгновения горького разочарования, душевной и головной боли, напряженной и тщетной борьбы с самим собой, раскаяния и отчаяния. Мы автоматически произносим слова, но не постигаем их смысла: за познание приходится платить собственной кровью и тончайшими фибрами нервов.

Но я спешу закончить повествование. Краткость оправданна и по отношению к тем, кто понимает быстро, и по отношению к тем, кто не поймет никогда.

Одним январским вечером, через несколько лет после смерти отца, я сидел в полутемной библиотеке у неярко горевшего камина в отцовском кожаном кресле. Внезапно в дверях появилась Берта со свечой в руке и направилась ко мне. Я прекрасно помнил бальное платье, которое было на ней в тот день: белое, с зелеными драгоценными камнями, ярко сверкавшими от огня свечи, который осветил медальон с изображением умирающей Клеопатры на каминной полке. Почему жена зашла ко мне перед отъездом? В библиотеке, любимом своем убежище, я не видел ее месяцами. Почему она – с этой сверкающей змейкой на платье, подобной знакомому демону, – встала передо мной со свечой в руке, устремив на меня жестокий и презрительный взгляд? На какой-то миг я решил, что осуществление наяву давнего моего предвидения означает некий страшный перелом в моей судьбе, – однако ничего не увидел в сознании жены, кроме презрения, вызванного моим в высшей степени несчастным видом... «Идиот, сумасшедший! Ну почему ты не убьешь себя?» – так думала Берта. Но наконец мысли ее вернулись к делу, и она заговорила. По сравнению с явной незначительностью этого дела на миг охватившее меня жуткое тревожное предчувствие показалось просто нелепым.

– Мне пришлось нанять новую служанку. Флетчер собирается выходить замуж. Она попросила меня поинтересоваться, можно ли ее будущему мужу рассчитывать на пивную и ферму в Молтоне. Я хочу отдать их ему. Ты должен ответить сейчас же, поскольку Флетчер уезжает завтра утром. И побыстрее, поскольку я тороплюсь.

– Хорошо, можешь пообещать ей, – безразлично сказал я, и Берта стремительно вышла из библиотеки.

Я всегда внутренне содрогался при виде незнакомых людей – особенно таких, чьи мысли и чувства могли докучать моему усталому сознанию суетностью, невежеством и пошлостью. Но в особенное содрогание привел меня вид новой служанки, ибо весть о ее появлении в доме я получил в момент жизни, который не мог не счесть роковым. Я испытывал смутный ужас при мысли, что мне откроется вдруг причастность этой женщины к страшной драме моей судьбы, что некое новое отвратительное видение явит мне ее в образе злого демона. Когда наконец я встретился с новой служанкой, смутный ужас в моей душе превратился в отвращение. Высокая, жилистая и темноглазая, миссис Арчер внешне была довольно привлекательна – отчего в ее грубой, жесткой натуре развилось омерзительное наглое кокетство. Одного этого, независимо от ее нескрываемого презрения ко мне, оказалось достаточно для того, чтобы я начал избегать горничную. Я редко видел миссис Арчер, но понял, что она быстро вошла в доверие к своей хозяйке, а спустя восемь или девять месяцев начал сознавать, что в душе Берты появилось смешанное чувство страха перед этой женщиной и зависимости от нее, – и чувство это ассоциировалось с какими-то неясными сценами в тускло освещенной гостиной и с неким спрятанным в кабинете жены предметом. Теперь я разговаривал с Бертой так мало и так редко наедине, что не имел возможности составить более отчетливое представление о населявших ее сознание образах. Воспоминания сильно спрессовываются и искажаются в стремительном течении мыслей и порой напоминают реальную действительность не больше, чем буквы современного восточного алфавита – предметы, послужившие их прообразами.

Кроме того, последние год-полтора в моем внутреннем состоянии происходили изменения, все более заметные с течением времени. Моя способность проникать в разум других людей проявлялась все слабее и все реже – и появление в моем измученном раздвоенном сознании посторонних мыслей стало все меньше зависеть от непосредственного общения с кем-либо. Все личное во мне переживало мучительный процесс медленного умирания, и я постепенно терял орган восприятия, позволявший мне реагировать на душевные движения и умственную деятельность окружающих. Но наряду с угасанием утомительного дара проницательности во мне развивалась новая способность, которую я посчитал – как выяснилось впоследствии, совер-

шенно правильно – способностью вызывать в воображении самые разные картины внешнего мира. Казалось, связь моя с живыми людьми все больше и больше слабела, а связь с объектами так называемой неживой природы стремительно крепла. По мере того как я отдалялся от общества и яростная буря мучительных страстей постепенно стихала и превращалась в привычную тупую боль в груди, все более яркие и живые картины, сродни давнему моему видению Праги, стали представляться моему воображению: незнакомые города, песчаные равнины, гигантские деревья, странные созвездия на полуночных небесах, горные ущелья, зеленые лужайки в пятнах солнечного света, пробившегося сквозь густые ветви. Подобные картины населяли мое сознание – и во всех их величественных образах я ощущал одно давящее присутствие, присутствие некоего неизвестного и безжалостного начала. Ибо постоянные страдания убили во мне религиозную веру. Для глубоко несчастного человека – нелюбящего и нелюбимого – невозможны никакая вера и никакое поклонение, кроме поклонения дьяволу. Помимо всего прочего, меня постоянно преследовало видение моей смерти: дикая боль, муки удушья, последняя – отчаянная и тщетная – борьба за жизнь.

В таком положении находились дела к концу седьмого года супружеской жизни. Сверхъестественная способность проникать умственным взором в сознание посторонних полностью покинула меня – я перестал непроизвольно вторгаться во внутренний мир других людей и постоянно жил теперь в окружении картин собственного будущего. Берта заметила происшедшую во мне перемену. К моему удивлению, в последнее время она как будто искала случая находиться в моем обществе и избрала ту прохладную и одновременно фамильярную манеру общения, какая обычна для супругов, живущих в состоянии вежливого и непоправимого отчуждения. Я сносил это с ленивой покорностью и не настолько интересовался скрытыми побуждениями жены, чтобы начать пристально наблюдать за ней. Однако я не мог не обратить внимания на некое торжество и возбуждение, сквозившие в поведении Берты и в выражении ее лица, – эти неуловимые и тонкие чувства никак не выражались в словах и интонациях, но оставляли впечатление, что Берта живет в состоянии радостного ожидания и тревожной надежды. Самое большое удовлетворение приносила мне мысль, что ее внутренний мир снова закрыт для меня; и я почти наслаждался теми мгновениями, когда в приступе меланхолической рассеянности отвечал жене невпопад и обнаруживал таким образом полное непонимание ее слов. Я прекрасно помню взгляд и улыбку Берты, с какими она однажды сказала мне после одной такой ошибки с моей стороны:

– Я привыкла считать, что ты очень проницательный человек и не любишь других умных и проницательных людей из-за ревнивого желания сохранить первенство в этом отношении. Но теперь ты стал гораздо тупее окружающих.

Я ничего не ответил. Мне вдруг пришло в голову, что навязчивое присутствие жены рядом со мной в последнее время вызвано желанием проверить мою способность проникать в некоторые ее тайные мысли. Но я отогнал от себя это предположение: скрытые побуждения и поступки Берты не интересовали меня, и, каких бы удовольствий она ни искала, я не хотел мешать ей. В душе моей по-прежнему сохранялась жалость ко всему живому – а Берта была живым существом в мире, полном всевозможных несчастий.

Как раз в это время произошло событие, которое отчасти вернуло меня к жизни и – совершенно неожиданно – заставило почувствовать интерес к действительности. Чарльз Менье написал мне, что собирается в Англию отдохнуть от слишком напряженной работы и хотел бы меня навестить. Менье был теперь известным в Европе ученым, но за строками его письма угадывалось острое сознание давнего долга благодарности и внимания, свидетельствовавшего о благородстве характера. Для меня же общение со старым другом означало возможность ненадолго вернуться в более счастливые времена.

Чарльз приехал, и, насколько это представлялось возможным, я нашел прежнюю радость в прогулках наедине с ним, хотя вместо гор, ледников и широкого голубого озера нам прихо-

дилось довольствоваться пологими склонами холмов, прудами и искусственными лесонасаждениями. Время изменило нас обоих – но как по-разному! Менье теперь блистал в обществе: самые элегантные женщины с притворным пониманием внимали его речам, и знакомством с ним гордились аристократы, стремившиеся прослыть умными и образованными людьми. В высшей степени тактично он скрыл потрясение, которое, несомненно, испытал при встрече со мной, и направил всю силу своего обаяния и дружеского расположения на то, чтобы вернуть наши прежние добрые отношения. На Берту произвели сильное впечатление неожиданные достоинства гостя, которого она намеревалась терпеть лишь в силу его громкого имени, и в ход пошло все ее кокетство и все чары. Очевидно, жене удалось вызвать восхищение Чарльза, поскольку он держался с ней весьма почтительно и предупредительно. Присутствие старого друга действовало на меня в высшей степени благотворно – особенно возобновление прежних наших прогулок вдвоем, когда он разливался передо мной восхитительными речами о своей научной деятельности; поэтому, когда разговор заходил о психологических причинах различных заболеваний, в мозгу моем не раз мелькала мысль, что, останься этот человек здесь подольше, я, возможно, смог бы открыть ему тайну моей жизни. Не могла ли его наука предложить мне какое-нибудь целительное средство? Не мог ли по крайней мере его широкий и восприимчивый ум предложить мне понимание и сочувствие? Но мысль эта лишь слабо мерцала в моем мозгу и угасала, не успев превратиться в желание. Страх случайного проникновения в мир чужой души заставлял меня тщательно окутывать покровом молчания свою собственную душу – так мы автоматически совершаем поступки, которых ожидаем от других.

Когда визит Менье уже подходил к концу, произошло событие, которое, к великому удивлению всех домочадцев, произвело поразительно сильное впечатление на Берту – на хладнокровную Берту, обычно не склонную ни к каким типично женским переживаниям и холодно-сдержанную даже в проявлениях своей ненависти. Событием этим стала неожиданная тяжелая болезнь ее горничной, миссис Арчер. Здесь мне следует упомянуть об одном обстоятельстве, которое сделалось для меня очевидным незадолго до прибытия Менье: я заметил, что между Бертой и служанкой произошла какая-то ссора – вероятно, во время совместной их поездки к далеко жившим знакомым. Однажды я случайно услышал, как горничная разговаривала с Бертой непозволительно наглым тоном, который показался мне достаточной причиной для немедленного увольнения служанки. Однако никакого увольнения не последовало. Напротив, Берта как будто решила молча сносить все оскорбительные проявления вспыльчивого характера этой женщины. С тем большим удивлением заметил я, что болезнь миссис Арчер чрезвычайно взволновала и озаботила жену: она проводила у постели больной дни и ночи и никому больше не позволяла исполнять обязанности главной сиделки. По стечению обстоятельств наш домашний врач находился в это время в отпуске, и потому присутствие в доме Менье было вдвойне желанным. Мой друг занялся этим случаем с интересом, настолько явно превышавшим обычный профессиональный интерес, что однажды, когда после очередного осмотра больной он погрузился в глубокое продолжительное молчание, я спросил:

– Это что, какое-нибудь особо необычное заболевание, Менье?

– Нет, – ответил он. – Это простой перитонит, который непременно закончится смертельным исходом, однако в течении своем ничем не отличается от многих других известных мне случаев. Но я скажу тебе, о чем думаю сейчас. Я хочу провести на этой женщине один эксперимент – с твоего согласия, разумеется. Он не причинит ей никакого вреда и никакой боли, ибо я приступлю к делу лишь после того, как все органы ее чувств потеряют способность реагировать на раздражение. Я хочу попробовать перелить кровь в артерии этой женщины через несколько минут после окончательной остановки ее сердца. Много раз я ставил подобный опыт на животных, умерших от перитонита, и всякий раз добивался поразительных результатов. Теперь я хочу провести такой опыт на человеческом существе. Необходимые для этой операции тонкие трубки у меня с собой, в саквояже; остальные приспособления можно

без труда изготовить в домашних условиях. Я намереваюсь использовать для переливания собственную кровь, взятую из вены. Женщина, несомненно, не доживет до утра, и я прошу тебя ассистировать мне. Я не могу обойтись без помощника, но, вероятно, не имеет смысла искать его среди местных медиков, ибо по округе могут пойти нежелательные глупые слухи.

– Говорил ли ты с моей женой на эту тему? – спросил я. – Похоже, Берта особенно щепетильна в отношении этой женщины, ведь миссис Арчер была ее любимой горничной.

– Честно говоря, – сказал Менье, – я не хочу ставить Берту в известность. В таких вопросах с женщинами всегда возникают непреодолимые трудности, а опыт над предполагаемым мертвецом может дать совершенно поразительный результат. Мы с тобой будем наготове. С появлением определенных симптомов я проведу тебя в комнату миссис Арчер, и в должный момент нужно будет удалить оттуда всех посторонних.

Нет необходимости пересказывать наш дальнейший разговор на эту тему. Чарльз ознакомил меня со всеми деталями операции и в противовес моему естественному отвращению к последним сумел возбудить во мне смешанное чувство благоговейного страха и острого любопытства в отношении возможного исхода эксперимента.

Мы приготовили все нужные медицинские инструменты, и я в качестве ассистента получил необходимые инструкции. Чарльз не сообщил Берте о своей уверенности в неизбежной и скорой кончине миссис Арчер и попытался убедить мою жену ненадолго отойти от больной и поспать до утра. Однако она заупрямилась, подозревая Менье в желании просто избавить ее от зрелища смерти, которая вот-вот наступит, и отказалась покинуть комнату горничной. Мы с Менье сидели в библиотеке; друг часто отлучался к миссис Арчер и возвращался с сообщениями о том, что болезнь развивается в полном соответствии с его ожиданиями. Один раз он спросил меня:

– Ты не догадываешься о возможной причине неприязни, которую эта женщина питает к своей хозяйке, столь ей преданной?

– Кажется, незадолго до болезни миссис Арчер между ними произошла какая-то размолвка. А почему ты спрашиваешь?

– Последние пять-шесть часов – полагаю, с тех пор как больная потеряла всякую надежду на выздоровление, – она как будто постоянно пытается сказать что-то, но от боли и слабости не может произнести ни слова. При этом она все время обращает на свою хозяйку взгляд, исполненный самой темной угрозы.

– Проявление подобной злобы не удивляет меня, – сказал я. – Эта женщина всегда внушала мне недоверие и неприязнь, но ей удалось втереться в доверие к хозяйке.

После этих слов Менье погрузился в раздумье и долго молчал, глядя в огонь камина, потом снова отправился наверх. Он оставался в комнате больной дольше обычного и по возвращении спокойно сказал мне:

– Теперь пойдем.

Я последовал за другом в комнату, где уже явственно ощущалось дыхание смерти. Бледное лицо Берты выделялось особенно резко на фоне темного полога огромной кровати. При моем появлении жена рванулась было мне навстречу, но остановилась и гневно и вопросительно взглянула на Менье. Тот поднял руку, призывая всех к молчанию, и одновременно начал проверять пульс больной, не сводя с нее пристального взгляда. Черты мертвенно-бледного лица миссис Арчер заострились, на лбу ее выступил холодный пот, и огромные черные глаза скрылись под опущенными веками. Минуту или две спустя Менье обошел кровать, приблизился к Берте и со свойственной ему мягкой учтивостью попросил ее оставить пациентку на наше попечение: мы сделаем для больной все возможное, а она уже все равно не в состоянии сознавать присутствие рядом любящего и преданного существа. Берта колебалась, явно почти желая поверить Чарльзу и подчиниться. Она обернулась и взглянула на мертвенно-бледное лицо, словно ища в нем подтверждения словам Менье. И в этот момент веки умирающей

дрогнули, поднялись, и взгляд ее устремился на Берту – но взгляд совершенно пустой. Берта содрогнулась всем телом и вернулась к своему месту у изголовья миссис Арчер, всем своим видом показывая, что не намерена покидать комнату.

Глаза умирающей закрылись и больше не открывались. Один раз я взглянул на Берту, которая не отводила взгляда от лица горничной. Жена была в роскошном пеньюаре, и ее белокурые волосы наполовину прикрывал кружевной чепчик; по одежде она, как всегда, производила впечатление элегантной дамы, достойной позировать для картины с изображением сцен из жизни современных аристократов. Но теперь я спрашивал себя: как это лицо могло показаться мне когда-то лицом женщины, рожденной женщиной; лицом женщины, хранящей воспоминания детства, способной чувствовать боль и нуждающейся в любви и ласке? Черты его в тот момент казались неестественно резкими, взгляд – напряженным и жестоким. Жена походила на некое безжалостное и бессмертное существо, находящее высший восторг в созерцании предсмертной агонии. Ибо злобное торжество осветило на миг это страшное лицо, когда последний вздох слетел с уст умирающей, и мы поняли, что черный покров смерти окончательно опустился над ней. Что за тайна связывала Берту с этой женщиной? Я отвел взгляд от жены, охваченный диким ужасом при мысли, что дар ясновидения может внезапно вернуться ко мне и неминуемо откроет мне тогда сокровенные помыслы двух нелюбящих женских сердец. Я чувствовал: Берта ожидала смерти миссис Арчер с таким нетерпением, словно горничная уносила с собой в могилу некую страшную тайну. И я возблагодарил небо за то, что никогда не узнаю ее.

Менье тихо сказал: «Она скончалась», затем взял Берту за руку, и она покорно вышла за ним из комнаты.

Полагаю, именно по ее приказу в комнате вскоре появились две служанки и отпустили находившуюся там молоденькую сиделку. Ко времени их прихода Менье уже вскрыл артерию на длинной тощей шее покойницы, и я отослал служанок прочь, велев им держаться подальше, пока мы не вызовем их звонком.

– Доктор, – сказал я, – хочет провести операцию. Он не уверен в окончательной смерти больной.

На следующие двадцать минут я забыл обо всем на свете, кроме Менье и эксперимента, который целиком занял внимание моего друга и заставил его полностью отрешиться от окружающего мира. Моей задачей в первую очередь было поддержание искусственного дыхания в теле после переливания в него крови. Но очень скоро Чарльз освободил меня от этого занятия, и я смог наблюдать со стороны за чудесным возвращением умершей к жизни: грудь женщины начала вздыматься, дыхание становилось все глубже, бледные веки затрепетали, словно душа ожила под ними. Менье прекратил делать искусственное дыхание, однако грудь женщины продолжала мерно вздыматься, и наконец миссис Арчер зашевелила губами.

Я услышал, как повернулась дверная ручка. Вероятно, моя жена узнала, что мы отпустили служанок, и смутный страх поднялся в ее душе, ибо она вошла в комнату с крайне тревожным выражением лица. Берта приблизилась к изножью постели и приглушенно вскрикнула.

Мертвая женщина широко открыла глаза и устремила на мою жену совершенно осмысленный взгляд – взгляд, полный ненависти. Рука, которую Берта считала застывшей навеки, поднялась и указала на нее, изможденное лицо дрогнуло. Раздался прерывистый напряженный голос:

– Вы хотели отравить своего мужа... яд спрятан в вашем кабинете... Я достала его для вас... Вы смеялись надо мной и за моей спиной наговаривали на меня, чтобы внушить всем отвращение ко мне... из ревности... Сожалеете ли вы об этом... сейчас?..

Приглушенные звуки продолжали срываться с губ женщины, но слов больше нельзя было различить. Скоро непонятное бормотание стихло, лишь губы продолжали шевелиться еще некоторое время. Пламя жизни вспыхнуло с неожиданной силой – и сразу погасло. Душа

несчастной женщины пробудилась для ненависти и мести: дыхание жизни тронуло ее струны и навек отлетело прочь. Боже правый! Неужели ненависть должна снова обрести жизнь?.. Очнуться с нашей неутоленной жадью, с нашими произнесенными проклятиями на губах, с нашими телами, готовыми совершить несовершенные грехи?

Берта стояла в изножье кровати – бледная, дрожащая и беспомощная, похожая на хитрого зверя, окруженного в своем укрытии быстро надвигавшейся стеной огня. Даже Менье как будто оцепенел от ужаса: в этот миг жизнь перестала казаться ему исключительно научной проблемой. Что же касается меня, то эта сцена вполне отвечала духу всей моей жизни: чувство ужаса было давно знакомо мне, и новое открытие лишь воскресило в новых обстоятельствах прежнюю боль.

С тех пор мы с Бертой жили отдельно. Она обитала в своем поместье, владея половиной нашего состояния, а я путешествовал по разным странам, пока не вернулся умирать в это девонширское гнездо. У всех Берта вызывает сочувствие и восхищение: что мог я иметь против этой очаровательной женщины, с которой любой, кроме меня, был бы счастлив? Единственным свидетелем сцены у ложа умирающей был Менье, но при жизни печать молчания лежала на его устах, ибо он обещал мне хранить эту тайну.

Один или два раза, устав от бесконечных странствий, я отдыхал в любимых своих местах, и душа моя влеклась к мужчинам, женщинам и детям, чьи лица постепенно становились мне знакомыми. Но я всегда в ужасе бежал от них, чувствуя пробуждение своего прежнего дара проникать во внутренний мир других людей, – бежал, чтобы жить постоянно в присутствии одного Неизвестного Начала, одновременно явного и скрытого за колеблющейся завесой земли и неба. И наконец болезнь заявила о своих правах на меня и заставила остановиться здесь и жить в полной зависимости от слуг. Затем проклятая острота внутреннего зрения и постоянная раздвоенность сознания вновь вернулись ко мне и никогда больше не уходили. Я знаю все ограниченные мысли моих слуг, всё их неуважение и презрительную жалость ко мне.

Сегодня двадцатое сентября тысяча восемьсот пятидесятого года. Я прекрасно помню все до единого слова только что законченной повести – словно это давно знакомые мне письма. Я видел их на чистом листе бумаги бесчисленное количество раз с тех пор, как сцена моих предсмертных мук впервые открылась внутреннему зрению...

Амелия Эдвардс

Карета-призрак

Перевод Л. Бриловой

Главное достоинство рассказа, который вы сейчас от меня услышите, – его достоверность. Это рассказ о событиях моей собственной жизни, и я помню их так ясно, как будто они произошли только вчера. А между тем прошло уже двадцать лет с той ночи. За все эти двадцать лет я рассказывал эту историю только одному человеку, и сейчас мне стоит большого труда заставить себя повторить ее. Все, о чем я прошу, – это не навязывать мне свои толкования. Я не нуждаюсь ни в каких объяснениях и не хочу слушать никаких доводов. Я составил себе вполне определенное мнение о происшедшем, основываясь на свидетельстве своих собственных чувств, и предпочитаю его придерживаться.

Ну что ж! Это было ровно двадцать лет назад. Через сутки-двое оканчивался охотничий сезон. Весь день я провел, не выпуская из рук ружья, а добычи – кот наплакал. Ветер – восточный, время действия – декабрь, антураж – поросшая вереском открытая местность на крайнем севере Англии. И я заблудился. Куда как удачную выбрал я для этого обстановку! Приближалась метель: в воздухе уже запорхали первые пушистые хлопья. Сгущались свинцовые сумерки. Я сложил ладонь козырьком и стал с тревогой всматриваться в темнеющую даль, туда, где в десяти-двенадцати милях от меня ковер вереска сменялся низкими холмами. И нигде вокруг ни дымка, ни ограды, ни овечьих следов. Ничего другого мне не оставалось, как идти вперед в надежде набрести хоть на какое-нибудь укрытие. Я вновь взвалил на плечо ружье и из последних сил поплелся вперед: мне ведь с самого утра ни разу не удалось присесть, и за весь день у меня во рту не побывало и маковой росинки.

Между тем ветер стих, а снег стал падать со зловещей размеренностью. Вслед за этим похолодало. Быстро наступала ночь. Мрачнело небо, мрачнели и мои перспективы. У меня сжималось сердце, когда я думал о своей молодой жене, о том, как она, ожидая меня, не отходит от окна маленькой гостиницы, где мы остановились, о том, какие мучительные переживания предстоят ей в эту долгую ночь. Мы поженились четыре месяца назад, провели осень в горах на севере Шотландии, а теперь остановились в отдаленной деревушке в Англии, как раз на границе обширных вересковых пустошей. Мы были очень влюблены друг в друга и, разумеется, очень счастливы. Этим утром, когда мы расставались, она умоляла меня вернуться до сумерек, и я ей это обещал. Чего бы только я не отдал, чтобы сдержать свое слово!

Даже теперь, несмотря на усталость, я чувствовал, что мог бы успеть вернуться до полуночи, если бы удалось раздобыть где-нибудь ужин, кров, часок отдохнуть и нанять проводника.

Тем временем снег все падал, а ночная тьма сгущалась. Через каждые несколько шагов я останавливался и кричал «ау», но наступавшая после этого тишина казалась еще более глубокой. Потом меня охватило смутное беспокойство, и я начал припоминать рассказы о путешественниках, которые все шли и шли в снегопад, пока усталость не брала над ними верх и они ложились и засыпали, чтобы никогда не проснуться. «Можно ли продержаться на ногах всю эту долгую темную ночь? – спрашивал я себя. – Не настанет ли момент, когда мне откажут силы и ослабеет решимость? И когда я тоже усну навсегда?» Я содрогнулся. Как это ужасно – умереть именно сейчас, когда жизнь кажется такой прекрасной! Как это ужасно для моей любимой, ведь она всем сердцем... Но прочь эти мысли! Чтобы прогнать их, я снова принялся кричать, еще громче, чем раньше, потом стал напряженно вслушиваться. Прозвучал вдали ответный крик – или мне почудилось? Я снова крикнул «ау», и снова мне ответило эхо. Потом из темноты внезапно показалось колеблющееся пятно света. Оно перемещалось, исчезало, снова прибли-

жалось, становясь все крупнее и ярче. Я понесся сломя голову навстречу ему и, к своей великой радости, очутился лицом к лицу с каким-то стариком, несшим фонарь.

– Слава богу! – невольно вырвалось у меня.

Он поднял фонарь и, прищурившись, хмуро взглянул мне в лицо.

– Это еще за что? – проворчал он угрюмо.

– Как же – за тебя! Я уж боялся, что пропаду здесь в снегу.

– Здесь уже много народу сгинуло, почему бы и вам не сгинуть, если на то воля Божья?

– Если есть на то воля Божья, чтобы мы сгинули вместе, то так тому и быть. Но без тебя, дружище, я здесь пропадать не намерен. Сколько миль отсюда до Дуолдинга?

– Добрых двадцать или около того.

– А до ближайшей деревни?

– Ближайшая деревня – Уайк, и до нее двенадцать миль в другую сторону.

– Ну а сам ты где живешь?

– Вон там. – Он слегка дернул рукой, в которой держал фонарь.

– Ты сейчас идешь домой, наверное?

– Может, и так.

– Тогда я иду с тобой.

Старик покачал головой и в раздумье потер себе нос ручкой фонаря.

– Без толку и пытаться, – проворчал он. – Нипочем он вас не впустит, знаю я его.

– Ну, это мы посмотрим, – живо отозвался я. – А кто это – он?

– Хозяин.

– А кто он такой?

– Ни к чему вам это знать, – последовал бесцеремонный ответ.

– Ну ладно, ладно, ты иди вперед, а я уж позабочусь о том, чтобы получить крышу над головой и ужин.

– Как же, держи карман шире, – пробормотал мой собеседник, волей-неволей вынужденный стать моим проводником, и, продолжая покачивать головой, заковылял через снегопад прочь, похожий на гнома. Вскоре во тьме перед нами возникла какая-то большая расплывчатая масса, и навстречу нам с бешеным лаем бросилась громадная собака.

– Это тот самый дом? – спросил я.

– Он самый. Лежать, Бей! – И старик стал шарить в карманах, разыскивая ключи.

Я подошел к нему вплотную, чтобы не упустить возможность проникнуть в дом. В кружке света от фонаря я увидел, что дверь густо усеяна железными остриями, как в тюрьме. В следующее мгновение он повернул ключ в замке, и я протиснулся мимо него в дверь.

Очутившись в доме, я с любопытством огляделся. Я находился в большом, с деревянным потолком, холле. Судя по всему, его использовали для самых разнообразных надобностей. В одном углу, как в амбаре, возвышалась до самого потолка куча зерна. В другом были свалены мешки с мукой, сельскохозяйственный инвентарь, бочки и всевозможный хлам. С потолочных балок свисали рядами окорока, большие куски соленой свинины и пучки засушенных трав, запасенные на зиму. В центре стоял какой-то большой предмет, завернутый в неопрятный матерчатый чехол. По высоте он достигал половины расстояния до стропил перекрытия. Я приподнял край чехла и был поражен: под ним обнаружился крупного размера телескоп, установленный на передвижной платформе на четырех колесиках. Труба телескопа была изготовлена из крашеного дерева и скреплена грубыми металлическими обручами. Рефлектор, насколько я мог разглядеть в полутьме, был не меньше пятнадцати дюймов в диаметре. Пока я разглядывал этот инструмент и размышлял над вопросом, не является ли он изделием какого-нибудь доморощенного оптика, резко зазвенел колокольчик.

– Это вас, – сказал мой проводник с недоброй усмешкой. – Вот его комната.

Он указал на низкую темную дверь в противоположной стороне холла. Я пересек холл, громко постучал и вошел, не дожидаясь приглашения. Из-за стола, заваленного книгами и бумагами, поднялся седой старик гигантского роста и заговорил суровым тоном:

– Кто вы такой? Как сюда добрались? Чего вы хотите?

– Джеймс Маррей, адвокат. Пешком, из Дуолдинга. Еды, питья и ночлега.

Старик грозно сдвинул свои густые брови.

– Мой дом не увеселительное заведение, – заявил он высокомерно. – Джейкоб, как ты посмел впустить сюда постороннего?

– Я его не впускал, – проворчал тот. – Он сам за мной увязался, отпихнул меня и ворвался в дом. Мне не под силу с ним тягаться: в нем шесть футов два дюйма, не меньше.

– Будьте любезны объяснить, сэр, по какому праву вы силой ворвались в мой дом?

– По тому же праву, по какому я уцепился бы за вашу лодку, если бы тонул. По праву самосохранения.

– Самосохранения?

Я ответил коротко:

– Снегу выпало уже не меньше дюйма, а к утру его будет достаточно, чтобы полностью засыпать мой труп.

Он подошел к окну, отдернул тяжелую темную занавеску и выглянул наружу.

– Верно, – согласился он. – Если хотите, можете остаться до утра. Джейкоб, подай ужин.

Он дал мне знак сесть, сам тоже уселся и вновь погрузился в свои, прерванные мною, занятия.

Я поставил ружье в угол, придвинул стул к камину и неспешно оглядел помещение. Эта комната была меньше, чем холл, и не так загромождена, однако содержала в себе много такого, что возбудило мое любопытство. Пол голый, без ковров. Беленые стены кое-где были разрисованы загадочными чертежами, кое-где заставлены полками, ломившимися под тяжестью каких-то научных приборов, по большей части неизвестного мне назначения. По одну сторону от камина стоял книжный шкаф, заполненный пыльными фолиантами, по другую – небольшой орган, причудливо декорированный цветными изображениями средневековых святых и чертей. Через полуоткрытую дверцу шкафа в дальнем конце комнаты я видел обширную коллекцию минералов, хирургические инструменты, тигли, реторты, лабораторную посуду. На каминной полке рядом со мной стояли, среди прочего, модель Солнечной системы, небольшая гальваническая батарея и микроскоп. На каждом стуле что-нибудь да лежало. В каждом углу громоздилась гора книг. Даже пол был усеян картами, гипсовыми слепками, бумагами, кальками и прочим мыслимым и немыслимым ученым хламом.

Я осматривался с изумлением, которое росло по мере того, как мой взгляд перемещался от одного случайного предмета к другому. Такую удивительную комнату я видел впервые, но еще более удивительно было обнаружить ее в одиноком фермерском доме, в этих диких, заброшенных местах! Снова и снова я переводил взгляд с хозяина дома на окружающую обстановку и обратно, спрашивая себя, кто он и чем занимается. Его голова была необычайно красива, но это была скорее голова поэта, а не естествоиспытателя. Широкая на уровне висков, с выступающими надбровными дугами, увенчанная массой жестких, совершенно седых волос, эта голова своими идеальными очертаниями и отчасти своей массивностью напоминала голову Людвига ван Бетховена. Те же глубокие складки вокруг рта, те же суровые морщины на лбу, то же выражение сосредоточенности. Пока я рассматривал этого человека, открылась дверь и Джейкоб внес ужин. Хозяин дома захлопнул книгу, встал и с большей любезностью, чем до сих пор, пригласил меня к столу.

Передо мной оказались блюдо с окороком, яичницей и большой буханкой черного хлеба, а также бутылка превосходного хереса.

– Мне нечего предложить вам, сэр, кроме самой простой деревенской пищи, – посетовал хозяин. – Надеюсь, ваш аппетит поможет вам примириться с убожеством наших припасов.

Я уже успел наброситься на еду и, энергично запротестовав, с пылом оголодавшего охотника стал уверять, что в жизни не ел ничего вкуснее.

Хозяин чопорно поклонился и принялся за собственный ужин, состоявший всего лишь из кувшина молока и миски овсянки. Мы ели молча. Когда мы закончили, Джейкоб унес поднос. Я снова придвинул свой стул к огню. Хозяин, к моему удивлению, проделал то же самое и, резко повернувшись ко мне, сказал:

– Сэр, я прожил здесь в совершенном уединении двадцать три года. За все это время мне почти не приходилось встречаться с чужими людьми, и я ни разу не держал в руках газеты. Вы первый незнакомый человек, который переступил порог моего дома за более чем четыре года. Не будете ли вы любезны сообщить мне кое-какие сведения о внешнем мире, с которым я так давно прервал всякую связь?

– Пожалуйста, задавайте вопросы, – ответил я. – Я от души рад вам служить.

Он наклонил голову в знак признательности, потом оперся подбородком на руки, устремил взгляд на огонь в камине и начал свои расспросы.

Интересовался он в первую очередь наукой. Он почти ничего не знал о том, как используются в практической жизни последние научные достижения. Я не знаток науки и отвечал, насколько мне позволяли мои скудные познания; но задача оказалась не из простых, и я облегченно перевел дух, когда мой собеседник от расспросов перешел к комментариям и начал высказывать свои суждения о фактах, с которыми я попытался его ознакомить. Он говорил, а я слушал как зачарованный. Он, думаю, едва помнил о моем присутствии. Это были мысли вслух. Я никогда не слышал ничего подобного. Знакомый со всеми направлениями философии, тонкий в анализе, смелый в обобщениях, он изливал свои мысли непрерывным потоком. Не меняя согбенной позы и не спуская глаз с огня, он переходил от темы к теме, от рассуждения к рассуждению, как вдохновенный мечтатель. От прикладных наук к философии, от электричества в проводах к электричеству в человеке, от Ватта к Месмеру, от Месмера к Райхенбаху, от Райхенбаха к Сведенборгу, Спинозе, Кондильяку, Декарту, Беркли, Аристотелю, Платону, к магам и мистикам Востока – эти переходы ошеломляли своим разнообразием и размахом, но в его устах звучали просто и гармонично, как музыка. Постепенно (не помню, какая цепь умозаключений этому предшествовала) он перешел в ту область, которая перешагивает границы даже самой смелой философии и простирается неведомо куда. Он заговорил о душе и ее чаяниях, о духе и его возможностях, о ясновидении, пророчествах, обо всех тех феноменах, которые именуются духами, призраками или привидениями, в чье существование во все века многие верили, в то время как скептики их отрицали.

– Люди, – утверждал он, – все менее склонны верить во что-либо выходящее за пределы доступной им очень узкой сферы понятий, и ученые поощряют эту губительную тенденцию. Они называют баснями все, что не поддается экспериментальному исследованию. Все, что нельзя изучить в лаборатории или на анатомическом столе, они отвергают как фальшивку. С каким другим суеверием они воевали так долго и ожесточенно, как с верой в привидения? И в то же время какое другое суеверие так прочно и надолго укоренилось в умах людей? Укажите мне, какой всеми признанный факт из области физики, истории, археологии подтвержден столь многочисленными и разнообразными свидетельствами? И этот феномен – известный людям всех рас, во все исторические периоды, во всех уголках земли, всем, от знаменитых мудрецов древности до самых примитивных дикарей, живущих в наши дни, христианам, язычникам, материалистам, – современные философы называют детскими сказками. Самые обстоятельные свидетельства у них на чаше весов превращаются в пух. Сопоставление причин и следствий, прием, используемый в физике, отвергается при этом как не заслуживающий внимания. Показания надежных свидетелей, которые при судебном разбирательстве рассматриваются как

решающий аргумент, здесь ничего не стоят. Человека, который думает, прежде чем произнести хоть одно слово, называют пустым болтуном. Человека, который верит, причисляют к разряду мечтателей или глупцов.

Он произнес это с горечью. Несколько минут он молчал, потом поднял голову и заговорил изменившимся голосом:

– И я думал, исследовал, верил и не боялся высказывать свои суждения вслух. И я, вслед за другими, прослыл визионером, и надо мной потешались современники и изгнали меня с нивы науки, где я с честью подвизался все лучшие годы своей жизни. Это произошло ровно двадцать три года назад. Вы видите, как я живу теперь. Так я прожил все эти годы. Мир забыл меня, а я забыл мир. Вот вам моя история.

– Очень печальная история, – пробормотал я, не найдя другого ответа.

– Самая обычная. Я пострадал за правду, как пострадали до меня многие, кто был лучше и мудрее.

Он встал, видимо не желая продолжать этот разговор, и подошел к окну.

– Снегопад прекратился, – заметил он, задернул занавеску и вернулся к камину.

– Прекратился! – воскликнул я и вскочил на ноги в нетерпении. – Если бы только можно было... Но нет! Это безнадежно. Если бы даже удалось найти дорогу, пройти двадцать миль до наступления ночи мне сейчас не под силу.

– Пройти до ночи двадцать миль! – повторил хозяин дома. – Что это вам пришло в голову?

– Жена, – ответил я, волнуясь. – Моя жена не знает, что я заблудился, и сейчас сходит с ума от тревоги.

– А где она?

– В Дуолдинге, в двадцати милях отсюда.

– В Дуолдинге, – повторил он в раздумье. – Да, верно, это в двадцати милях. Но... вам так не терпится туда попасть, что вы не хотите подождать шесть-восемь часов?

– Очень не терпится; я отдал бы сейчас десять гиней за проводника и лошадь.

– Это может обойтись вам намного дешевле, – сказал он с улыбкой. – В Дуолдинге ночью останавливается для смены лошадей почтовая карета с севера. Она проезжает в пяти милях отсюда. Приблизительно через час с четвертью она должна быть на перекрестке. Если бы Джейкоб проводил вас через пустошь до старой дороги, то вы, я думаю, смогли бы добраться до того места, где она соединяется с новой?

– Проще простого! Это замечательно!

Он опять улыбнулся, позвонил в колокольчик, дал распоряжения старому слуге, вытащил из шкафа, где хранились химикалии, бутылку виски и рюмку и сказал:

– Снег глубокий, идти будет тяжело. Стаканчик шотландского виски на дорогу?

Я бы отказался от спиртного, но он стал настаивать, и я выпил. Напиток опалил мне горло, как жидкое пламя. У меня перехватило дыхание.

– Виски крепкий, но теперь мороз вам будет нипочем. А сейчас не теряйте времени. Доброй ночи!

Я поблагодарил его за гостеприимство и хотел пожать ему руку, но он отвернулся, прежде чем я успел закончить фразу. Еще через мгновение я пересек холл. Джейкоб запер за мной дверь дома, и мы оказались на обширном, пустом, белом от снега пространстве.

Ветер стих, но, несмотря на это, было очень холодно. На черном небосклоне не виднелось ни одной звезды. Ни звука вокруг, только поскрипывание снега у нас под ногами нарушало давящую тишину ночи. Джейкоб, не в восторге от данного ему поручения, ковылял впереди в угрюмом молчании, в руках – фонарь, в ногах – тень. Я шагал следом, взвалив на плечо ружье; беседовать мне хотелось не больше, чем ему. У меня из головы не шел человек, в доме которого я только что побывал. В моих ушах еще звучал его голос. Его красноречие все еще

владело моим воображением. Удивительно, но я помню по сей день, как в моем разгоряченном мозгу всплывали целые фразы и фрагменты фраз, вереницы блестящих образов, вспоминались дословно обрывки остроумнейших рассуждений. Размышляя об услышанном и пытаясь восполнить забытые звенья в цепи умозаключений, я шел по пятам за проводником, погруженный в свои мысли и глухой ко всему окружающему. Мне казалось, что прошло минут пять, не больше, когда Джейкоб внезапно остановился и произнес:

– Вот она, дорога. Держитесь по правую руку от каменной ограды, и не заплутаете.

– Значит, это – старая дорога?

– Ага, она самая.

– А далеко еще до перекрестка?

– Почти три мили.

Я вынул кошелек, и у Джейкоба сразу развязался язык.

– Дорога тут ничего себе, если идти пешком, а для карет чересчур узкая и крутая. Вы увидите, впереди возле столба разломана ограда. Ее так и не починили после того, как стряслось несчастье.

– Какое несчастье?

– Почтовая карета свалилась ночью в долину – пролетела добрых пятьдесят футов или еще поболее. Там самая худая дорога, хуже нет во всем графстве.

– Какой ужас! Сколько человек погибло?

– Все. Когда их нашли, четверо уже не дышали, а двое других померли на следующее утро.

– А когда это случилось?

– Ровно девять лет назад.

– Ты сказал, около столба? Я это запомню. Доброй ночи.

– Доброй ночи, сэр, благодарствуйте. – Джейкоб опустил в карман свои полкроны, слегка коснулся рукой шляпы и поплелся восвояси.

Я не выпускал из виду свет его фонаря, пока он окончательно не исчез, потом повернулся и продолжил путь в одиночку. Это было сейчас совсем не трудно. Несмотря на то что небо было черно как сажа, очертания каменной ограды ясно виднелись на фоне слабо поблескивавшего снега. Какая тишина царила вокруг – только скрип моих шагов и больше ни звука. Какая тишина и какое одиночество! Странное, тоскливое чувство стало овладевать мной. Я ускорил шаги. Начал напевать отрывок какой-то мелодии. Вообразил себя владельцем громадных сумм и принялся в уме вычислять от них сложные проценты. Короче, я делал все возможное, чтобы забыть о тех поразительных теориях, которые мне недавно пришлось услышать, и до некоторой степени в этом преуспел.

Ночной воздух тем временем становился все морознее, и, хотя шел я быстро, согреться мне не удавалось. Ноги мои были холодны как лед, руки потеряли чувствительность и машинально сжимали ружье. Я даже начал задыхаться, как будто шел не пологой дорогой на севере Англии, а взбирался на самую крутую вершину Альп. Это так огорчило меня, что я был принужден ненадолго остановиться и прислониться к каменной ограде. Взглянув случайно назад, я, к величайшему облегчению, заметил далекий огонек, похожий на приближающийся свет фонаря. Сначала я решил, что это возвращается Джейкоб, но тут же увидел второй огонек, который двигался параллельно первому с той же скоростью. Нетрудно было догадаться, что это огни экипажа, хотя странно было, что кто-то решился пуститься в путь по такой явно заброшенной и опасной дороге.

Однако факт оставался фактом: огни росли и становились ярче с каждым мигом, и мне даже представилось, что я уже могу различить между ними очертания кареты. Продвигалась она очень быстро и совершенно бесшумно. Оно и понятно: глубина снега под колесами достигала почти фута.

Когда карета за фонарями была уже хорошо видна, она показалась мне подозрительно высокой. Внезапно меня пронзила догадка: а что, если я уже прошел перекресток, не заметив в темноте столб, и не тот ли это почтовый экипаж, который мне и нужен?

Мне не пришлось долго ломать голову над этим вопросом, потому что в то же мгновение карета вынырнула из-за изгиба дороги: кондуктор, кучер, наружный пассажир, четверка серых лошадей, от которых шел пар. Все это я увидел в облачке света: в нем, будто два огненных метеора, сверкали фонари.

Я замахал шляпой и с криком кинулся вперед. Почтовая карета на полной скорости пронеслась мимо. Я испугался, что меня не заметили, но в следующую секунду убедился в обратном. Кучер осадил лошадей. Кондуктор, облаченный в накидку с капюшоном и укутанный шарфом по самые глаза, не ответил на мой оклик и даже не пошевелился, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть на землю. Он, видимо, крепко уснул под стук экипажа. Наружный пассажир тоже не повернул головы. Я сам открыл дверцу, прошмыгнул на свободное сиденье и поздравил себя с удачей.

Внутри кареты, как мне почудилось, было еще холоднее, чем снаружи, если только это возможно, и почему-то неприятно пахло сыростью. Я оглядел своих спутников. Оказалось, что все трое мужчины. Все молчали. Не похоже было, что они спят, но каждый забился в свой угол и как будто погрузился в размышления. Я попытался завязать разговор.

– До чего же холодно сегодня, – начал я, обращаясь к пассажиру, сидевшему напротив.

Он поднял голову, посмотрел на меня, но ничего не ответил.

– Кажется, пришла настоящая зима, – продолжил я.

Угол, в котором он сидел, был плохо освещен, и я не мог разглядеть его лицо, но видел, что он по-прежнему смотрит в мою сторону. Тем не менее ответа я не получил.

В иное время я выказал бы, возможно, некоторую досаду, но в тот момент мне было не до того: слишком уж неуютно я себя чувствовал. Мороз пробирал меня до мозга костей, а странный запах в экипаже вызывал неодолимую тошноту. Все мое тело сотрясала дрожь. Обратившись к соседу слева, я спросил, не будет ли он возражать, если я открою окно.

Он не произнес ни слова и даже не пошевелился.

Я повторил свой вопрос громче, но результат был тот же. Тогда я потерял терпение и потянул вниз раму. Кожаный ремень лопнул у меня в руке, и я заметил, что стекло покрыто толстым слоем плесени, которая, видимо, нарастала не один год. Тут я обратил внимание на то, в каком состоянии находится наш экипаж. Я осмотрел его более внимательно при неверном свете наружного фонаря. Оказалось, что он готов был не сегодня завтра развалиться. Все в нем было не только неисправно, а просто-напросто давно обветшало. Оконные рамы расщеплялись от одного прикосновения. Кожаные прокладки сгнили и покрылись плесенью. Пол буквально разрушался под ногами. Короче говоря, весь экипаж отсырел. Видимо, его извлекли из-под навеса, где он истлевал годами, чтобы разок использовать по назначению.

Я повернулся к третьему пассажиру, к которому до сих пор не обращался, и отважился высказать еще одно замечание.

– Эта карета в плачевном состоянии, – проговорил я. – Наверное, основной экипаж в починке, а это – замена?

Он слегка повернул голову и молча взглянул мне в лицо. Этот взгляд я буду помнить всю жизнь. У меня внутри все похолодело. У меня и сейчас все холодеет внутри, когда я это вспоминаю. Глаза его горели свирепым неестественным огнем. Лицо было мертвенно-бледно, губы бескровны, поблескивавшие зубы оскалены, словно в агонии.

Слова замерли у меня на устах, душу охватил ужас – смертельный ужас. Глаза мои к тому времени привыкли к темноте, и кое-что я уже неплохо различал. Я обернулся к соседу напротив. Он тоже смотрел на меня, и я увидел ту же поразительную бледность, тот же холодный блеск глаз. Я провел рукой по лбу, повернулся к пассажиру, сидевшему рядом, и увидел...

О боже! Как мне описать то, что я увидел? Я увидел, что он не живой человек – что живой здесь только я один! На их ужасных лицах, на волосах, влажных от могильной росы, на платье, запачканном землей и разлезавшемся от ветхости, на их руках, руках давно погребенных покойников, блуждало бледное фосфорическое свечение – признак распада. Живыми были только глаза, их ужасные глаза, и эти глаза были устремлены на меня с угрозой!

У меня вырвался крик ужаса, дикий, нечленораздельный крик, мольба о помощи и пощаде. Я бросился к дверце и безуспешно попытался ее открыть.

И в этот краткий миг, как при вспышке молнии, живо и четко я увидел свет луны в разрыве штормовых облаков, зловещий дорожный столб, похожий на предостерегающе поднятый палец, разбитый парашют, проваливавшихся лошадей, черную бездну внизу. Карету встряхнуло, как при качке на море. Потом громкий треск – невыносимая боль – и, наконец, темнота.

Мне казалось, что прошли годы, когда я пробудился от глубокого сна и увидел жену, сидевшую у моей постели. Я умолчу о последовавшей за этим сцене и перескажу в нескольких словах то, что она рассказывала мне, не переставая со слезами на глазах благодарить небеса за мое спасение. Я свалился в пропасть недалеко от того места, где старая дорога соединяется с новой. Меня спасло от верной смерти только то, что я упал на глубокий сугроб у подножия скалы. Там меня и обнаружили, когда рассвело, пастухи. Они отнесли меня в ближайшее укрытие и привели на помощь хирурга. Тот констатировал помрачение сознания, бред, перелом руки и сложный перелом костей черепа. По письмам, обнаруженным в бумажнике, установили мое имя и адрес, вызвали жену, и благодаря своей молодости и здоровой конституции я в конце концов пошел на поправку. Не знаю, нужно ли говорить, что место моего падения было в точности то самое, где девять лет назад произошло ужасное несчастье с почтовой каретой.

Я ни слова не сказал жене о своем жутком приключении. Поведал только хирургу, который лечил меня, но он счел все описанное бредом, порожденным мозговой горячкой. Много раз мы спорили и наконец, убедившись, что более не способны владеть собой во время этих дискуссий, решили прекратить их. Можете думать об этом происшествии все, что вам угодно, а я знаю определенно, что двадцать лет назад был четвертым пассажиром в карете-призраке.

Саломея

Перевод Н. Роговской

Несколько лет тому назад – сколько именно, значения не имеет – я, Харкорт Блант, путешествовал на пару с моим товарищем Ковентри Тернером и однажды на ступенях гостиницы услышал от него торжественное признание: он снова влюблен.

– Уверяю тебя, Блант, – сказал мой спутник, – такой красавицы я в жизни не видывал, она бесподобна!

Я расхохотался.

– Дружище, – ответил я, – в который уж раз встречаешь ты бесподобную красавицу!

– Так-то оно так, но я впервые говорю положи руку на сердце.

– Да ведь в который уж раз ты говоришь положи руку на сердце! Вспомни хотя бы дочку трактирщика в Кельне.

– Хорошенькая горничная, да только такую, как ни муштруй, в приличном обществе показать нельзя.

– А красавица-американка в Интерлакене?

– Не спорю, но...

– А *Bella Marchesa*⁸ на балу у князя Торлони?

– Ни одна из них не сравнится с моей царственной венецианкой. Прогуляешься со мной по Мерчери, убедишься сам. Отсюда в гондоле до площади Святого Марка рукой подать, доберемся за четверть часа.

Я согласился, и всю дорогу он расписывал мне свою новую пассию. Она еврейка – дайте срок, и он ее обратит. Отец ее держит лавку в Мерчери – так что с того? Он торгует только дорогим восточным товаром и богат, как Ротшильд. Что же до возможных осложнений в связи с его, Тернера, собственными видами на будущее – неужто он станет колебаться из-за эдакого вздора? Чего стоят эти «виды», когда на другой чаше весов счастье всей его жизни? К тому же он не тщеславен. Членство в парламенте его не прельщает. И если дядюшка – сэр Джеффри – не отпишет ему ни гроша, так что же? У него есть свои, пусть скромные, средства, уж их-то ни одна живая душа не отнимет, а чего более можно желать по здравом рассуждении?..

Я слушал, улыбался да помалкивал. Слишком хорошо я знал Ковентри Тернера, чтобы придавать малейшее значение его словам и поступкам в делах такого свойства. Влюбляться до самозабвения было для него в порядке вещей. Мы дружили с детских лет; и с тех пор, как он безо всякой надежды на взаимность увлекся молодой особой из кондитерской лавки в Харроу, не припомню, чтобы сердце его бывало свободно более чем несколько недель кряду. За пять месяцев нашего совместного путешествия он прошел все изнурительные этапы целых трех *grandes passions*⁹; и, несколькими неделями раньше покинув Рим с разбитым вдребезги сердцем, склеить которое не представлялось возможным ни при каких обстоятельствах, он теперь, повинаясь естественному ходу событий, вполне воспрянул, чтобы снова влюбиться.

Мы сошли на берег возле Святого Марка. В то утро, почти в середине апреля, ровно десять лет назад, на небе не было ни облачка. Дворец дождей ослепительно сверкал под жаркими лучами солнца; тут и там гондольеры, сбившись в кучки, обсуждали праздношатающихся; под арками пьяцетты бойко шла торговля апельсинами; за уличными столиками приветливых кафе уже расположились фланеры, наслаждаясь мороженым и утренней сигаретой. Прямо перед собором Святого Марка играл австрийский военный оркестр – португези, пряжки, усы, бело-снежные мундиры; и через всю площадь протянулась сонная тень огромной колокольни.

⁸ Прекрасная маркиза (*ит.*).

⁹ Великих страстей (*фр.*).

За низким сводчатым проходом, ведущим к Мерчерии, мы окунулись в прохладный лабиринт узких, извилистых, живописных улочек, куда не заглядывает солнце, где не услышишь скрипа колес и не увидишь вьючное животное; где что ни дом, то лавка, снизу доверху набитая товаром, словно на восточном базаре; где балконы стоящих друг против друга домов почти сходятся у тебя над головой, разделенные узкой щелкой знойного неба; и где три человека уже не разойдутся. Кое-как протискиваясь сквозь разношерстную толпу, которая без умолку трещит, торгуется, покупает, продает и пребывает в бесконечном колыпании, мы дошли наконец до лавки с восточными товарами. На уличном прилавке только и было что стеклянные банки с приправами да неопрятные россыпи дешевых побрякушек; зато внутри лавка, на вид темная и тесная, ломилась от восточных сокровищ. Целые сундуки восхитительных украшений, вышивок, кистей и бахромы из массивной золотой и серебряной канители, драгоценные снадобья и душистые травы, изысканные филигранные безделицы, подлиннные чудеса резьбы по кости, сандалу и янтарю, усыпанные камнями ятаганы, сверкавшие «алмазами и перлами»¹⁰, парадные турецкие сабли, тюки кашемировых шалей, китайского шелка, индийского муслина, кисеи и тому подобного заполняли каждый дюйм пространства от пола до потолка, оставляя свободным лишь узкий проход от двери к прилавку и еще более узкую тропку к жилым комнатам в глубине.

Мы вошли. Молодая женщина, расположившаяся с книгой на низкой скамейке за прилавком, отложила книгу в сторону и медленно поднялась. Она была во всем черном. Затрудняюсь подробно описать, что это был за наряд. Знаю только, что одежды ниспадали до пола свободными, пышными складками, и лишь у шеи и на запястьях проглядывала узкая полоска тончайшего батиста; но даже столь изящное и необычное платье не задержало моего внимания – до такой степени пленила меня ее красота.

Да, она и впрямь была прекрасна – прекрасна сверх всяких моих ожиданий. Ковентри Тернер, при всем своем воодушевлении, не сумел воздать ей по заслугам. Он расточал похвалы ее глазам – огромным, лучистым, печальным глазам, – прозрачной бледности, точеным чертам лица; но ни словом не обмолвился о том естественном достоинстве, совершенном благородстве и утонченности, которые сквозили в каждом ее взгляде, в каждом жесте. Мой приятель попросил дозволения снова взглянуть на браслет, приглянувшийся ему накануне. Горделиво, величаво, не проронив ни слова, она отперла ящик и положила вещь на прилавок. Он спросил, нельзя ли поднести браслет поближе к свету. Она наклонила голову, и только. Меня не оставляло чувство, будто нам прислуживает юная императрица.

Тернер прошел с браслетом к двери и сделал вид, что внимательно его разглядывает. Две золотые цепочки, через равные промежутки соединенные узорной деталью в форме бобового зерна с ярким кораллом и брильянтами. Вернувшись к прилавку, он спросил у меня совета: понравится ли браслет его сестре, которой он обещал привезти сувенир из Венеции?

¹⁰ Перевод Арк. Штейнберга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.